

10.335
1983/3

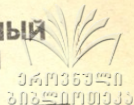
ISS NO130 3600
საქართველოს
ლიტერატურა

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 8

1983



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- ОТАР ЧХЕИДЗЕ. Лабиринты ущелья. Роман.
Окончание. Перевод Нодара Тархнишвили. 3
- АЛЕКСАНДР МУРАВЬЕВ. Мой журнал. Вступительная статья и комментарий Отара Жордания. : 44

К 200-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЕВСКОГО ТРАКТАТА

- ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. «Свидетельствует вещей знак...» 84
- БУЛАТ ОКУДЖАВА, ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ,
БЕЛЛА АХМАДУЛИНА. Стихи. 97, 98, 100
- СЕРГЕЙ ЕРМОЛИНСКИЙ. Сагурамо 113
- БОРИС РЕЗНИКОВ, АЛЕКСАНДР КУШНЕР,
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ. Стихи. 128, 131
- ЛЕОНИД ТЕМИН, МАРИНА КУДИМОВА, АН-
ДРЕЙ ПЛАХОВ. Стихи. 133, 135, 136

8

1983



საქართველოს
საბავშვო ლიტერატურის
ცენტრი

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВСКАЯ, ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО. Стихи.	140,	143
СВЕТЛАНА КЕКОВА, НИКОЛАЙ ЕРЕМИН Стихи.	146,	152
ЯН ГОЛЬЦМАН, НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Стихи	157,	160
РОБЕРТ ВИНОНЕН, АШОТ САГРАТЯН (Вступительная статья А. Беставашвили). Стихи	163,	165
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА, ГЕЛИЙ АРОНОВ. Стихи	167,	168
ПАВЕЛ НЕРЛЕР, ЛАРИСА ФОМЕНКО. Стихи	170,	171
ЮРИЙ ЮРЧЕНКО, СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ. ЛИДИЯ МАГИСТРОВА. Стихи.	175, 177,	178
ГЛАН ОНАНЯН, ВЛАДИМИР ТЕРЕЛАДЗЕ. Стихи.	181,	184
ПАОЛА УРУШАДЗЕ, МАДЛЕНА РОЗЕНБЛЮМ. Стихи	185,	186
ТАМАРА ЯНИШЕВСКАЯ, НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА. Стихи	187,	188
ВЛАДИМИР ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ВЕРА КИРЕЕВА. Стихи.	190,	192
ВЛАДИМИР ОГНЕВ. Ночные прогулки. Опыт ассоциации.	195	
АЛЕКСАНДР ОРЛОВ. Стихи. Вводная статья Чабуа Амирэджиби	208	
СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. Несколько слов благодарности	212	
СТАНИСЛАВ ЛАКОБА. «Я слышу гул твоей земли...»	218	

ХРОНИКА 223



ГЕОРГИЙ снял со стены турьи роги и положил на колени, положил, и лежали они так, сухие турьи роги, он и сам вроде внезапно высох, с минуту назад столь возбужденный, вдруг сник, возбуждение улетучилось, одни глаза гускло сверкали, угаснут и они, и останется высохший человек, мумия, или оленьи роги, прибитые к стене, на которых висели турьи роги, или тот же пень с торчащими корявыми корнями, отвердевший, окаменевший, от которого самым острым ножом и щепки не отсечь...

— Выпьем за самое сокровенное. За то, о чем говорится только про себя, только в сердце, за это! — Могло показаться, что Зураб плакал. Он поднял оба турьих рога, протянул Георгию, наполнил оба и забрал один обратно.

— За Грузию!.. Разве не лучше говорить вслух?

— Да, но в душе — это все же другое.

Так оно или иначе, они выпили, положили роги на

ЛАБИРИНТЫ УЩЕЛЬЯ

Роман

124.371

колени и сидят, сидят и смотрят на них сверху бес-
смысленно или с болью в сердце, смотрят как на по-
койников, с которыми разговаривали недавно. Смотрят
может сумеют их оживить или повесят на стену, не си-
деть же век на одном месте с огромными рогами на
коленях? Повесят, ясное дело, на прежнее место, но
прежде еще раз оживят, несомненно, не расстанутся
с ними, ничего не сказав или не выслушав приятного
воркованья, присущего лишь турьему рогу; пока же
смотрят на них сверху, смотрят с болью в сердце,
вздыхнут, уставятся друг на друга, и опять вздохнут
и опять взглянут на турьи роги, напоминающие мерт-
вецов.

— Если не в силах состязаться, считай, умираешь,
умираешь медленной смертью или живешь живым тру-
пом... — выговорил Георгий.

Зураб не дал ему докончить фразу:

— Тем не менее жизнь есть жизнь, она неповто-
рима и несравненна.

— Руставели учит другому.

— А в чем он нуждался?

— Кто знает...

— Знаем.

— И все же, кто знает, что да как произошло, и
вообще что произошло.

Зураб: Ведь народу было хорошо?

Георгий: Да.

— Судьба одного человека — ничто, пусть даже
такого, как Шота... вот если народу тяжко...

В дверях марани по-прежнему стоял солнечный
свет, но и тень легла, будто верхушка ели нацелилась
на марани, нацелилась и надвигалась, надвигалась.

XIX

И ЕСЛИ даже нацелилось бы копьё, они не шелох-
нулись бы, не поднялись, не посторонились — ни
Георгий, ни Зураб — так во всяком случае казалось,
если от Георгия этого можно было ждать, что же
Зураб? Оторопел, наверное: ведь он не мог пожерт-
вовать ни одной жизнью, даже растения, насекомого,
о человеческой и говорить не приходится, а тут жизнь
человека ускользала у него между рук, исчезала на
глазах, таяла, превращалась в пепел. Слово уже не

могло привести Георгия в чувство, заставить очнуться, образумиться, он покорился судьбе, и иссякла сила слова — Зурабу было уже не по силам убедить его: пало слово и пал человек, распластался перед судьбой, вступил с ней в схватку и потерпел поражение; Зураб оцепенел, должно быть, когда увидел тень, наваленную на них, точно копье рока, и некоторое время находился в состоянии оцепенения и ходил, как ходят люди ошеломленные, не мог ни делом заняться, ни поговорить с кем-нибудь, мысли путались и разбегались, он не мог определить, что происходит, да и не пытался определить, это мало его тревожило, никто и ничего не тревожило. А тут он все же пошел, когда дым поднялся над залом, пошел, когда дым окутал зал и лес задымил, пошел, но только без волнения, без тревоги, и как безучастный наблюдатель остановился поодаль, не понимая, что к чему, иначе прикрикнул бы на озорников-мальчишек, которые понатаскали хворост, разожгли костер у самых стен зала и таскали, таскали, бросали в огонь, прыгали, как дикари, дико вопили. Чем выше взметалось пламя, тем громче и пронзительней были их вопли. Он осадил бы их, понятно, а сейчас и не собирался этого делать, и близко не подходил, все бродил, бродил, то ли прогуливался, то ли прятался. Волей-неволей натолкнулся бы на мальчишек, бегущих за хворостом, натолкнулся бы, но и шагу не смог бы сделать; не смог, когда мальчик Бахчо, к примеру, строил ему рожи, гримасничал, показывал язык, кувыркался. Зураб стоял, не понимая, что это значило, — кому он строил рожи или что кричали остальные, почему сбегались, почему разбегались, что собирали и куда несли. Он не двинулся с места и тогда, когда из деревни прибежали крестьяне и дачники, с руганью накинудись на сорванцов, надавали подзатыльников тем, кто попался под руку, огонь погасили, пошумели, погалдели, а он все стоял и стоял, не понимая, что творится, а если и понимал, то не придавал происходящему никакого значения, ему, наверное, уже безразличен был и сам зал, заветная его мечта... Огонь между тем не желал утихать, языки пламени взметались вверх и падали, растворяясь во тьме, порой

казалось, опоясывали его, горели на ладони протянутой руки, извивались на плечах, охватило бы его пламя и превратило бы в уголь, казалось, так казалось, но ему-то что, ему все трин-трава, все безразлично, пускай себе сгорит в пламени!

Зал молчал, молчал лес, молчало небо, не было ни звезд, ни луны, одни языки пламени пылали, приплясывали если не на плечах, не на ладони, то в кустах, на тропинках, в оврагах, на холме, где угодно, и он шел за ними. Огонь шел впереди, и он следовал за ним, не пошел бы, не будь на то его воля — он не следовал больше чужой воле, попросту не мог; возвращаясь домой, застревал где-нибудь на шатком мостку или тропинке и возвращался обратно, если мосток загорался, или он даже этого не знал, не видел — непроизвольно, подсознательно избегал огня, языков пламени, кровавых, искристых, извивающихся. Огонь алел, как кровь, извивался, метал искры или не метал вовсе, поднимался свободно, вольно, завораживал, рука невольно тянулась к нему, хотела погладить, рука, но, замечьте, не его рука: он не протягивал руки и не отнимал ее, он не наступал на огонь, хотя пламя стелилось у самых ног, скользило или стремительно взметалось вверх, норовило нимбом засиять над ним, а он тряс головой, сам не зная почему, и нимб крошился, рвался и обрушивался огненным дождем, кострами разгорался вокруг или вырастал на тропинках алыми маками пламени. И он шел за алыми маками огня, ему ведь было безразлично, куда идти, ибо он никуда не шел, но и остановиться не мог. И своей воле уже не мог следовать, ну а чужой — так никогда не следовал. И он шел неизвестно куда, а очутился возле зала. Языки пламени плясали на куполе, плясали бесшабашно, лихо, будто хотели взбесить его, именно потому что не могли: пламя-искуситель забегало за ним в зал или опережало его — встречало в зале и начинало пылать на щеках, на стенах, люстре... Пылал зал или показывал ему язык, язык из пламени, язык множественный, показывал и водил им с сумасшедшей скоростью; вспрыгивал на стулья, становился похож на чесалку. И сидело пламя-чесалка, грозя вонзить в тело острые спицы, а он ложился на него, и хоть бы что. Огонь его не брал. Огонь угасал и на стульях, и на стенах, и на



16 03 50 210
310-1110133

потолке, и на люстре, погаснет и опустится тьма, воцарится тьма и безмолвие, непоколебимое, недоступное, недостижимое, разъединит, разлучит его душу с телом, вознесет душу на купол. Он, естественно, останется на месте и, если кто-то или что-то потянется к бездушной плоти, — пусть — он не испугается, ничто не заставит испугаться бездушную плоть, даже самое жуткое, жутчайшее, даже такое... Нет, он и имени не упомянет, впрочем, что толку в имени того, что представляется только сгустком крови, на кого он еще накричит, будто и пощечину закатит, будто и ногой пнет, но что с того — крик выплеснется кровью, и пощечина и пинок вымараются в крови, и его крик, его пинок, его пощечина и все свертывалось в сгусток крови, в бездушную плоть, ее не могли одолеть ни боль, ни страх, душу бесплотную, разъединилась она с плотью, отошла. И лезть не причинила бы боли сердцу, лезть собачонки, явившейся пусть хотя бы в лице Цруто, язык пламени выскальзывал, обнимал его, охватывал или проглатывал, да не сумел бы проглотить, он застрял бы непременно у него в горле, застрял бы и начал задыхаться, зашелся бы в кашле, впрочем, трудно сказать, как закашляешься, если проглотить собственный язык, трудно сказать... Все это ничего, он постеснялся бы кашля и ушел от него, языка собственного, и от него ушел бы, а вот от Зизилы и мы не смогли бы уйти, она никому не давала покоя. Голову ее венчал венец, русалочий, ясно, и бусы русалочки, и серьги — все от русалки, хотя что все — ничего другого видно не было, замерз и венец русалки, и бусы, и серьги, и язык собаки... заледенели. Все окоченело, поскольку окоченел огонь. Что бы ни произошло — до него, плоти бездушной, ничего не могло дотянуться, ее — душу бесплотную — ничего не могло затронуть, хотя бы едва, хотя бы отдаленно не могло достигнуть, только приближался вплотную некий огромный стог или пень, приближался, надвинулся тучей, грозил обрушиться на голову — он лежал прочно, чернел, такую густую черноту невозможно было сравнить ни с чем, самый мрак бледнел перед ним и он лежал неподвижной тьмой, чем-то похожий на Бахчо, и сеял страх, вверх

гал в ужас, приводил в ужас даже крутой утес. Зубаб /
оставался невозмутимым, только он и светился, во /
мраке, пламя проникало в плоть вместо души, и он /
светился, освещал весь зал, и тот свет растворил тень, /
не осталось ни малейших следов ее, но тем не менее /
свет этот ничего не мог поделать с тем мраком, и вы- /
делить его не мог ни целиком, ни по частям, и трудно /
сказать, почему именно он принял бесформенную /
тьму за Бахчо, неужели все непременно надо объяс- /
нять, ведь существует нечто, не подлежащее объяс- /
нению?.. Лежал стог или огромный пень мрака... Надол- /
го ли? Расширится, расширится, охватит зал и даль- /
ше — лес охватит, ложбины, овраги и прочее, но его /
не сумеет, плоть бездушную, до нее все равно не до- /
тянется — до души бесплотной; молчание привязалось /
бы к мраку, последовало за ним, потом к ним приме- /
шался бы шелест, далекий, далекий шелест стал бы /
нарастать, нарастать, словно загрохочет адским грохо- /
том, потрясет, потрясет плоть бездушную, душу бес- /
плотную, но нет, не было с ней сладу, хоть грохотало /
громово, издавало треск протяжный и раскатистый или /
сперва был треск, потом грохотало адским грохотом, /
ужасным, неопишным, и все попусту: он только воз- /
водил глаза, незрячие глаза, смотрел, не мигая, на куп- /
пол, освещенный сверканием молний, смотрел на сына, /
Вечного Сына... если бы тот попытался спуститься — /
не сумел бы, даже он не сумел бы спуститься; если бы /
этот приготовился сказать ему что-либо — не сумел /
бы, ничего не сумел бы ответить даже Сын Вечный, /
и знаком дать понять не сумел бы — снова начинали /
приплясывать языки, кровавые языки пламени, точно /
приглашали его на танец, ходили перед ним на носках /
и руку клали ему на плечо, приглашали на танец, но /
не могли увлечь за собой плоть бездушную, что и го- /
ворить, не могли, но потом, если не по его воле, то /
силой языки пламени обвивали его, тянули, тащили; /
свистел бич, бил его по спине, вонзались в тело острые /
рога, рога разъяренного быка. На быке сидела Зизи- /
ла — она не хлестала его бичом — почему, хотелось /
бы знать, она-то, хотелось бы знать, чего хотела? /
Он и не понял бы, и этого бы не понял, и искра появля- /
лась (это в действительности!), разгоралась и гасла, /
вновь появлялась и вновь гасла, превращаясь в пепел;

он стоял, прислонившись к дереву, и, не мигая, смотрел на пепелище костра, изгоняющего духов, стоял, прислонившись к дереву, — у него подкашивались ноги и если он стоял, согнувшись, единственно благодаря дереву. Уже не видно языков пламени, не видно быков, вспугнутых мраком, нет и бича, нет Зизилы самой, одно молчание леса. Лес молчал, и темно было в лесу. Время от времени полыхали уголья, и лес и горы поднимались во весь рост, поднимался зал, поднимался и тонул, поднимался вдруг, сразу, и сразу же падал во мрак, тонул, точно бессильная искорка. О чем он думал, какие видения одолевали его? Никакие вовсе, а если что-либо и чудилось, верно, нечто огромное, гигантское, иначе какая сила, кроме силы сказочного гиганта, могла сдвинуть горы, поднять их и обрушить вниз, в бездну! Как бы там ни было, как будто глаз светился порой из лесу, порой с гор, смотрел вприщур, смотрел и сверкал во мгновение воспламенения искры (он и гас вместе с искрой или оставался гореть), поистине великаний глаз угасал с искрой или оставался во мгле и, хотя не светил, не двигался, но чувствовалось его присутствие, присутствие чего-то божественного и сатанинского в то же время.

Костер погас, ни искорки, ни дыма, только пепел, ни громоздящихся гор, ни зала. И глаз исчез, глаз незрячий или всевидящий, исчез совершенно, уже нельзя было его и представить. Была тьма и молчание, и длились они, пока заря разорвала небо.

* * *

Вскоре солнце высунет кудлатую бороду, в свое время, ясно, выглянет, заморозит, зачарует, хотя и не так, как на Цхрацкаро, взойдет солнце и щедро рассыплет свои лучи, засверкает, загорится на тропинках и пригорках; он именно тогда начнет спускаться с горы (не приставай ко мне: «Кто это он», дескать. Следуй за ним и поймешь, о ком я). Начнет спускаться именно оттуда, откуда льется солнце, по лесным тропинкам, срезая порой без того кратчайшие пути, сбегит по склонам (ведь и солнце шло и сбегало той же дорогой), бежит под блеск и шум солнца и мокнет

насквозь от росы, мокнет и нисколько не удивляется — тот, который ведет за собой ланенка. И тут же ярись: «Что за ланенок, откуда взялся, при чем тут ланенок?..» Следуй за ними и поймешь. Ланенок удивляется: промокнет, остановится и отряхнется, отряхнется еще и еще раз, словно вместе с капельками росы стряхивает с себя брызги солнца, и продолжает путь за своим поводырем, бежит трусцой, мелькает в травах, сломя шею бросается вниз (если слишком отстал от своего поводыря), бросается вниз и не может сдержать себя, не может остановиться — подводит задняя нога; он держит ее на весу, и она дрожит, деревенеет. Кажется, ланенок уже не сумеет поставить ее на землю, не сумеет следовать дальше за поводырем, кажется, она уже негодна отныне и навсегда — нога, та самая, от которой разбрызгана была кровь на берегу синего озера; кровь высохла, и рана как будто залечилась, да только как будто — невмочь идти в полную силу. А все равно идет, мелькает снова в травах и снова подпрыгнет и мчится вниз, потому как человек продолжает путь, идет не оглядываясь, он идет, и ланенок должен за ним следовать, его не принуждают, не держат на привязи и не подзывают, но надо идти за ним шаг в шаг, как за матерью, или, хочешь, за стадом, ведь он пока еще ланенок и должен идти за кем-нибудь, пускай даже за одним из тех, кем его пугали сызмальства, кого он боялся, от кого у него эта рана. Он такой же, как они, и вместе с тем иной совершенно — ведь он взвалил его, раненого, на плечи, вывел из грохота леса, вылечил, поставил на ноги, помог окрепнуть, нет, что и говорить, он не такой, как они, иной совершенно, и ланенок ему доверился, идет следом, шаг в шаг: мелькает, мелькает, подпрыгнет и бросится вниз, радуется лесу, блеет, блеет восторженно и вместе с тем печально, прощается, что ли, с лесом, а ведь жаль прощаться, к тому же и страх вплетен в его голос. Все равно он бежит за ним, а тот не оглядывается и не оглянется — знает, что ланенок не сбежит; пускай даже повернет обратно, пускай возвращается в свой загон, подождет там или хоть уходит в лес — он за ним не погонится, искать не станет и обиды не затаит в сердце, потому как понимает — зверю в лесу лучше, ему лучше вновь обре-

сти породу свою, кровь свою, если среди волков окажется и то ему лучше, лучше того неизвестного, неведомого, к которому идет, к которому приближается, — к страху, вероятнее всего. Ланенок приближается к страху, отдаляется от леса, низин, лощин и приближается к ужасному, неведомому и ужасному, а все равно идет, не оглянется ни разу, идет покорно, верный, преданный. Слабеет запах леса, иной запах бьет в ноздри; тропинок становится все больше, все шире становятся тропинки, вдали показываются крыши домов, они становятся все больше, а он все идет, идет, какой страх его гонит — повернулся бы хоть раз, поймет, несомненно поймет, пожалеет, непременно пожалеет; но человек идет, и ланенок следует за ним, реже прыгает, реже играет, блеет реже, срывается голос, идет, поворачивается и смотрит на лес, смотрит, смотрит и... сломя шею бросается вниз:

человек идет, идет;
крыши все увеличиваются;
показались и стены домов;
стены все увеличиваются.

И голоса доносятся, становятся все громче, множество страшных голосов.

В ноздри бьет запах, еще более жуткий, чем голоса, не лесной, разумеется, может, задушит его этот запах, но поводырь идет и что остается делать, как не следовать за ним шаг в шаг, впридачу страх увеличивается и ланенок не может уже отстать, бежит за ним, следует за ним, трется о его колени, забегает вперед и смотрит на него, блеет кротко, словно о чем-то спрашивает, а тот все идет, вроде бы не замечает или вроде говорит без слов: «поступай как пожелаешь». Только он по своей воле ничего не пожелает, если поводырь не повернет обратно... — только бы повернул, только бы, но нет, он идет, подходит к воротам, открывает калитку, заходит во двор, ланенок за ним, торопливо, быстро — боится остаться за оградой (даже если это безопасно, он не вынесет одиночества); какие-то существа вскарабкались на ограды, вылупили жадные глаза, загорелись жадные глаза и исчезли, недобрым светом светились глаза и скрылись не

к добру, может, это и в самом деле глаза страха — ведь сказано, у страха глаза велики, как бы там ни было, он, ланенок, быстро забежал за ним следом во двор, прижался к нему и уже не отойдет, пока тот стоит и ждет кого-то или чего-то, и в этом ожидании теревит пальцами ланенку загривок, и страх идет на убыль, но шерсть как будто продолжает ерошиться, однако в этот раз, наверное, оттого, что уходит страх, крадучись уходит, и, наверное, еще оттого, что ланенок увидел на балконе незнакомку, которая всплеснула вдруг руками и сбежала вниз по лестнице так быстро, словно слетела и, казалось, упадет на грудь ему, поводырю... Но она остановилась поодаль, испуганными глазами повела из стороны в сторону и бросилась к нему, упала перед ним на колени, перед ланенком, упала на колени и прижала к груди; прижала и ласкает, гладит, что-то шепчет; а он все дрожит (мелкая дрожь пробрала его, на сей раз не от страха, и впрямь не от страха) и все же... не улетучивался страх, вдруг испугался ланенок, как бы его не оставили здесь, среди этой любви. Страх есть страх, ланенок дрожит мелкой дрожью, она сильнее прижимает его к груди, ласкает, что-то говорит, заповедует что-то, что именно, хотелось бы знать, хотелось бы понимать слова! Он все равно боится, все равно хочет туда, в те руки, которые смазывали ему рану целебной мазью, меняли повязки, поили молоком, таскали траву, растирали больную ногу, приучали ходить, отпускали и придерживали, поднимали упавшего; он хочет туда и тянется, до того напрягает больную ногу, что слезы выступают на глазах. Наконец ему удастся ускользнуть, он убегает и падает и не хочет подниматься, лежит, уткнувшись носом в землю, и из глаз его катятся слезы; для них ничего подобного не происходит, ничего особенного не происходит, взявшись за руки, они идут по тропинке, плывут по лугу и останавливаются, смеются, снова плывут и снова останавливаются, словно взлетают по лестнице, словно так же в полете заходят в дом или перелетают на чьих-то крыльях, перекатываются по волнам. Поднимаются, входят, дверь закрывается, и он остается один — и слезы в утешение, но слезы высыхают, высыхают, застывают, какой-то злоеший крик доносится до его слуха, он слы-

шит свист и стук летящих камней, камни попадают в него; над каменной оградой видны взлохмаченные голы мальчишек с выпученными глазами — они бросают в него камни и перебираются через каменную ограду, прыгают, орут, размахивают палками, не стоят же так, ждать, что будет дальше и тешиться слезами, слезами тут не поможешь, никто не почувствует жалости, и ланенок бежит, взбегаёт на балкон, толкает носом дверь, забегает в комнату, падает у их ног, закрывает глаза, и слезы перестают литься; дикий крик врывается в открытую дверь, женщина закрывает ее и крик затихает. Она возвращается к тахте, где сидела, где сидели они и, держась за руки, спорили. Они снова возьмутся за руки, так же будут сидеть, близко, чуть ли не касаясь друг друга лицом, и разговаривать с прежним увлечением, вернее, женщина разговаривает, трещит без умолку, а этот, дядька его, ланенка, слушает, обратился в слух, будто его вовсе уже ничего не заботит, ни криков он не слышал никаких, не слышал и не видел, кто ворвался в комнату, почему ворвался, почему упал, почему плачет, ничего он не слышал и не услышит, если им овладела эта колдунья, обольстительница и колдунья, которой он оставляет или уже оставил ланенка. Он ни о чем не помнит, потому ланенок подполз к нему и начал тереться щекой о ноги, а он не смотрит вниз, только руку роняет, случайно, наверное. Ланенок мордочкой к ней тянется и начинает лизать, лижет, сосет пальцы, которые сосал, когда оторвали от матери, унимал свою боль, вот и сейчас уймется боль, уймется, но вот беда! — и руку отнимает у него женщина — обеими руками обвила его, обнимает, прижимает к груди, отпустит и обнимет снова, щебечет и чирикает, журчит, бормочет, шелестит, бубнит, будто лес заговорил, и запах стоит знакомый — на ней платье цвета лугов и пахнет, наверное, горными склонами, влажными от росы, ведь все это приятно и прекрасно, но удивительно, что и прекрасное сопровождает зло — она и руки не уступает ланенку, даже одной руки, той самой, что меняла ему повязки, смазывала целебной мазью. Все равно он должен дотянуться, все равно встанет, прильнет, к

нему прильнет, и она, колдунья или обольстительница, потянется и обнимет. Оказывается, он не забыл его, не забыл и даже защитит, и все же, когда он увидит, пусть и его заберет, пусть все-таки заберет с собой, а?.. Может, он остается? Даааа!.. Тогда дело другое, он смотрит ему в глаза, смотрит пристально, как бы спрашивает: остаешься или вернешься за мной потом, или оставляешь тут навсегда. Так ничего и не поняв, он выскользнул из рук женщины, но и к мужчине не подошел, застучал копытцами по комнате, заходил, хотя никакой охоты ходить по комнате, понятно, когда есть двор, только во двор дорога ему заказана, стоит выйти, как орда обрушится на него с диким воплем, оглушительным воплем, градом камней, стрел, палок, точно так, как много тысяч лет назад, как и сейчас среди диких племен, но и цивилизованные народы недалеко ушли, видно, разве что придумали куда более грозное оружие... Ну да бог с ним, одним словом, во двор выходить нельзя, и баста... Женщина замерла, замер и мужчина, замирает и ланенок, надеясь, что, наконец, вспомнят и о нем, увы, не вспомнят, — женщина опять зажурчит, зашелестит, зазвенит каплями дождя по листьям — надо где-то укрыться, скрыться; капли падают на листья, быть непогоде, быть непогоде... Слезы брызнули из глаз женщины, ланенку ее жалко, он подошел, положил ей на колени морду, вытянул шею и смотрит снизу вверх с сочувствием, просит перестать плакать, ведь вот он здесь, с ней, ведь неспроста его привели; женщина пристально взглянула на ланенку, посмотрела в его удивительно выразительные глаза, вытерла слезы и зажурчала по-прежнему и пуще прежнего, зашелестела, запела, поглаживая ланенку, и мужчина одобрительно кивнул ему головой, дотянулся до холки, но рука его соскользнула, слилась с рукой волшебницы, и воцарилась тишина, тишина, исполненная раздумий и переживаний, но ненадолго — через мгновение мужчина поднялся, поднялась и женщина, одно тепло от рук осталось на холке ланенки, мужчина пошел к двери, женщина за ним, он остановился у двери, остановился и повернулся, кивнул головой, попрощался с женщиной, словно забыл его, вручил и бросил, словно и не видит его, уже выбросил из сердца, и трепещет ланенок, трепещет, дрожит,



опускает морду, закрывает глаза, чтобы не видеть, как он уходит, опускает и смотрит исподлобья, он по-прежнему здесь, прижался спиной к двери, и женщина прижалась к нему, стоят точно связанные, ланенок подходит к ним неожиданно, начинает бодаться, старается пробиться между ним и ею. бьет о пол копытами, трясет головой, протискивается вперед, и они оба его хватают, поднимают на руки, обнимают; ланенок блеет от счастья...

И вышел с ними на балкон, и голос у него сорвался — за оградой виднелось несколько взъерошенных голов, а одна прямо здесь, под липой; притаился, приготовил рогатку и вертится, задрал голову, будто птичку среди веток ищет, а на самом деле его ждет, ланенка, ищет случая застать его одного; и еще взъерошенная голова появляется из-за ограды, куда более взъерошенная, чем у того, который под липой, кажется, и лоб у него взъерошенный или вообще нет у него лба, брови срослись с волосами и нахмурились; ланенок застыл, глядя на чудище, голос у него сорвался;

потом он долго не понимает, что происходит;

на него нападают и тащат — это он понимает;

куда тащат и зачем тащат — этого не понимает.

Липа кружится над его головой, взъерошенная голова кружится вместе с ней, но пока ничего плохого с ним вроде не происходит, вроде и ласкают его, голубят, вроде... и в самом деле, поймет ланенок, что это стая Эли, впрочем как же он это поймет, что за стая и какая стая; для успокоения крохотного сердца достаточно и того, что он поймет — они отошли в сторону: мужчина и женщина, Георгий и Эли, понятно, а стая слетелась к ланенку, стая Эли, воркует, щебечет, звенит, носится с ним, и тем не менее глаза его бегут туда, где мужчина медленно идет в сторону ворот, медленно переставляет ноги, словно хочет уйти незамеченным, словно и стая для того прилетела, чтобы облегчить ланенку расставание, не дать его почувствовать, но все равно туда бежит глаз, он хочет к нему, хочет вернуться туда, откуда они спустились, на те отроги, те луга, на берег того озера, пусть даже того озера, где пролилась его кровь, все равно ему там луч-

ше, но... Он уходит, уходит, а его поймала стая Эли, поймала, окружила, он блеет жалобно, и в который раз из глаз его падают слезы.

Удивляется стая Эли, удивляется, жалеет его ласкает, ласкает.

XXI

Это и рассеет тоску по лесу, эта ласка, если что-либо может ее рассеять.

Но не всегда ведь ланенок будет с ними? Куда чаще придется встречаться с теми, взъерошенными, что перелезают через ограду или врываются в ворота, или обрушиваются с деревьев, или вопят с крыши.

А тот мальчишка, совершенный головорез и сорванец, и по ночам остается в доме?

Когда он исчезает, все взъерошенные исчезают с ним, а черная тень его не отстает, все грозит, стоит над головой: теперь, говорит, ты у меня в руках.

Что делать, как быть, как избежать напасти?

Лес кличет его, лес гудит.

Но ведь Он оставил его, оставил у нее, оставил для нее?

Ведь она так с ним носится, и печалью своей с ним делится?..

С кем же она делиться будет своим горем?

Со своей стаей!

Пусть со стаей делится, а его зовет лес, лес гудит.

А почему взъерошенный мальчишка посмеивается? Пусть смеется, пусть, он тоже посмеивается в свой черед, его кличет лес, и он убегает, собаки лают, захлебываются, — ускользнет все равно, убежит, спасется.

А тот пусть хихикает, утешает других взъерошенных мальчишек, которые взберутся на ограду, свесят длинные ноги и начнут ими размахивать.

Собаки лают, лают ночью яростно, пусть себе захлебываются, пусть себе, он все равно ускользнет, а если не удастся, пусть собаки его раздерут на куски, это лучше, чем плен; ускользнет все равно, ускользнет, ускользнет!

Только до того заявится второй взъерошенный, повзрослее, повыше, конечно же, более хмурый, более страшный, хотя и не лазает по ограде, и не вопит с деревьев, и рогатки у него нет, и не пинает его, ланен-

105040
0000000000

ка (устал повторять!), разве что посмотрит на него искаса, исподлобья, в кои веки раз, это его ужасает, бросает в дрожь. Маленький взьерошенный играет сначала с большим взьерошенным, потом с ним, хватая за уши, щиплет, растирает, тянет. — он кричит, блеет жалобно, маленький взьерошенный хихикает, большой взьерошенный ржет, будто и журит его, мальчишки на ограде хохочут, взлохмаченные мальчишки, прибегают девчонки откуда-то, начинают трещать, все развлекаются, все веселятся, он падает, и бедро начинает ныть, он ни кричать не может, ни блеять, и не видно его прекрасной спасительницы, нет, не видно, — она там себе дрожит, на балконе или на лавке под липой сидит и дрожит, облака затянули небо, и ей стало холодно, холодно от августовской тучи, съежилась и сжалась, иногда прикрикнет, запрещает мучать ланенку, но запрет ее скорее похож на просьбу, на мольбу, разве примешь того взьерошенного мальчишку, когда и большой взьерошенный стоит рядом? Не примет — и обессиливает несчастный ланенок, вот-вот испустит дух, и женщина испугается или потеряет терпение, стремительно встанет и вцепится в лохматые волосы, вскрикивает мальчишка, рычит большой лохматый, женщина не обращает на него внимания, бросается к ланенку, ласкает, поднимает на руки, она роняет шаль, и волочится шаль по земле — так она и поднимается, волоча шаль, входит в комнату с ланенком на руках и, горбясь, садится на тахту, кутается в шаль и не может закутаться, дрожит, дрожит, теребит шаль, ланенок жметя к ней и тоже дрожит, прижимается, словно надеясь закутаться хотя бы в кончик шали. В открытые окна свистит ветер, летний августовский ветер, но тем не менее как-то зловеще свистит, для них зловеще, а тем все трын-трава; по-прежнему визжат полуголые мальчишки, кукарекают, ржут, — свистит летний ветер, надвинулась летняя туча, гудит лес, кличет дитя свое.

Вверх по лестнице с грохотом поднимается здоровенный лохматый, врывается в дверь и уже без прежней самоуверенности останавливается в дверях, смотрит на сгорбленную женщину, закрывает дверь, отго-

Отар Чхеидзе. Лабиринты ущелья.

2. «Литературная Грузия» № 8.

ს. ბაბაშვილი ს.ბ. ს.ბ. 1966

няет ланенка, присаживается на край тахты, тут же вскакивает, начинает ходить взад-вперед, снова садится и снова вскакивает, не находя себе места. Встрепенутый ланенок мечется из угла в угол, натывается на стены.

Потом успокаивается лохматый, останавливается посреди комнаты и что-то говорит, ожесточенно жестикулируя, ланенок смотрит на него во все глаза. Иногда Бахчо вскидывает правую руку, этот прослеживает ее взглядом, он вскидывает руку и повышает голос, водит пальцами возле губ, словно помогает словам вылезти наружу. Так оно и есть, наверное, женщина еще больше съеживается, а в шаль тем не менее закутаться не может, она вроде бы укоротилась вдесятеро; женщина пытается укрыть голые колени, руки, шею и не может, не может спрятаться в шаль и... что это — глаза ее, и без того большие глаза, становятся еще больше, сияние их подергивается пеленой, большие сияющие глаза мутнеют и увеличиваются, кажется, вот-вот одни глаза останутся, останется один страх. А ланенок словно начисто позабыл обо всем на свете, не боится уже никого и ничего, дергает головой и стучит копытцами, сначала до того тихо, что и сам не слышит, потом сильнее, громче и идет вперед, словно хочет увести женщину, блеет сердито, словно спорит с лохматым, который говорит без умолку, с Бахчо, значит, а тот и не замечает, как этот пыжится, не понимает, почему блеет, несет свое, уже и левую руку пустил в ход, в кулаки собирает ладони обеих рук, и лицо будто превращается в кулак, хотя оно без того на кулак похоже. Бахчо воздел кверху все свои кулаки, они вот-вот обрушатся на женщину; и завертелся ланенок, вскочил на тахту и заблеял угрожающе. Лохматый остановился как вкопанный, не от страха, конечно, от удивления, и кулаки разжались сами по себе, он засмеялся горьким смехом, женщина еще больше съежилась, ланенок не знает, что делать, ведь он заставил его остановиться и разжать кулаки, может, теперь заставить перестать смеяться?.. Ланенок в недоумении смотрит на женщину, просит подсказать, как быть дальше; она протягивает руку, он опускается на колени, она обнимает его и с такой поспешностью подбирает сползшую шаль, словно в них, в ланенке и ша-

ли, единственное ее утешение; тот перестал смеяться и разговаривать, хмуро смотрит на него, потом отводит взгляд и ходит по комнате взад-вперед, опускает голову, задумавшись, ходит взад-вперед, от двери до окна, от окна до двери, стул попадет на пути, он и не убирает его, и не обходит, и грохочет стул, — идет он туда — стул грохочет, возвращается — грохочет, и съезживается женщина, задыхается, крепче прижимается к ланенку, плотнее кутается в шаль. Свистит ветер в открытые окна, подует чуть сильнее, загудит, засвистит злее. Утихнет постепенно, потом поднимается вдруг, стихает, стихает, протяжно засвистит, словно его кличет, и он идет к распахнутому окну и, скрестив руки на груди, смотрит в окно. Среди густых высоких деревьев неба не видно, но судя по тому, как замирают листья и хвоя, туч становится больше, небо хмурится. Рана у ланенка ноет, больное колено ломит, он встает и выпрямляет ногу. Женщина перестала обнимать его, то ли догадалась, что его мучает, то ли свист ее напугал, бог весть, ланенка во всяком случае она оставила в покое; он спрыгнул и заходил, постукивая по дощатому полу, он не боится свиста, ничего уже не боится, странно, конечно, но не боится, и все тут!

Она немного его злит, эта странная женщина, что увенчала голову короной из грибов, и бусы из грибов повесила на шею, и серьги из грибов приделала к ушам и разгуливает в допотопном платье до самых пят, с вырезом на груди и на спине, немного она его злит, Зизила, ясно, обнимает и злит, тянет к себе и злит, я, мол, заберу его, пусть, мол, у меня будет, пусть будет твоим, но пусть у меня живет, вот это и злит его, ее болтовня, ее ласка, ее поцелуи, злит, и он убегает, фыркает, брыкается, натывается на нее, мнет бусы из грибов, она смеется, Эли смеется, глаза у нее блестят, она утирает шалью подступившие слезы, не переставая смеяться, он все больше расходится, громче фыркает, убегает от Зизилы, она тянется к нему, а он убегает, переворачивает стулья, грохочет, только это не пугает Эли, она смеется и утирает шалью слезы, а Зизила не отстает, вкрадчивей обращается с ней, лепечет, умиляется, длинное платье плывет по полу, покачиваются

помытые бусы, ланенок чуть переждет и ускользает, прячется за здоровенным мужчиной (представьте, за ним и то прячется), смеется и он, скорее ожет, но для него это смех и, значит, смеется. Ланенок прячется за ним, ведь он уже не знает, что такое страх!.. Мужчина широко расставил ноги, ланенок просовывает между ними голову, строит гримасы Зизиле, вызывая фыркает, фыркнет и спрячется, высунется и скроется, и просит она здоровенного мужчину, Зизила просит поймать ланенка и отдать его ей, он и не отказывает, только говорит, что зверек принадлежит не ему, а ей (кивок головой в сторону Эли), пусть она и решает. Она тронута. Этот сильнее фыркает, блеет, резвится, разошелся вконец, ничего и никого уже не боится. Бахчо и тот оробел:

«Прикажи, пусть уступит», — обращается к нему Зизила.

«Не могу приказывать», — отвечает ей Бахчо тоном человека, не желающего разговаривать на эту тему.

«Должен приказать», — не так-то легко отвязаться от Зизилы.

«Не могу, говорят!»

«Тогда она прикажет!»

«Мы договоримся, у нас согласие, а там, где согласие, о приказе и речи быть не может», — говорит Бахчо.

«Согласие лишь показное, если ты ей не прикажешь, она тебе прикажет, матриархат вернется, все вернется и перевернется вверх дном!»

«Вернется и пусть вернется», — Бахчо не хочет вести с ней разговора и, ясно, ни во что не ставит ее слова.

«Пусть возвращается, и трепещите тогда, мужчины, — хихикает Зизила, — я знаю свою породу, уж коли оседлаем, не сойдем».

«Это кого ты оседлала и не сошла?»

«Я женщина тощая, но если Цруто на мне женится, я его так оседлаю, будь здоров».

«Вот и не женится он на тебе».

«Ну а на ком он женится, у той он прямо как сыр в масле будет кататься, черта с два; я о Гульчине говорю».

«Какая ты, оказывается, грозная женщина, я и не знал».

«Не я грозная, моя порода, я ангел среди остальных, приказывайте, приказывайте, не уступайте ничего, иначе они вам приказывать начнут, вернутся, и станет все вверх ногами».

А Эли все смеется, растроганная Эли; ланенок фыркает, будто Зизилу передразнивает, Бахчо перегибается через подоконник, якобы что-то увидел, нарочно, конечно же, — не хочет общества Зизилы, не хочет, только этого недоставало — спорить с ней!

Впорхнула стая Эли и извинилась: «Мы думали, она одна, а оказывается, вы здесь, простите, счастливо оставаться», — вспорхнула и упорхнула, а Зизила вроде и же собиралась уходить, потребовала чаю, сама же поставила чайник на огонь, открыла банку с вареньем, нашла печенье и пригласила Бахчо к чаю: так, дескать, лучше и скорее договоримся. Ланенок сердится, бегаёт, гневно стучит копытами, Бахчо ничего не может поделывать, ланенок как бы помогает ему, вот как все обрачивается. Зизила наконец-то ушла, ланенок с фырканием проводил ее, это примерно значило: чтобы ноги твоей здесь больше не было; потом была тишина и свист ветра за окном. Опускалась ночь, небо становилось все темнее, и свист становился громче и пронзительней; лохматый мужчина ходит вроде бы и осторожно, да все равно стул заденет непременно, ходит и ходит от окна к двери, от двери к окну и обратно, то и дело прислушивается к свисту или что-то ищет в темноте, молчит, иногда начинает петь в лад свисту ветра, и ветер вторит ему; женщина по-прежнему сидит, сгорбившись, на тахте, и ланенок рядом, ясно, день кончился, наступила пора отдыха.

Но мужчина гнет свое, будто вовсе позабыл об отдыхе, и ветер порой стонет, или, может, это лес стонет, или сама тьма — кто знает, кто ведаёт, как бы там ни было, неприятно, лучше закрыть окна — это для женщины, а что ланенку? Ланенку так лучше, лес входит с этим свистом, этим стоном, лес входит в дом, ведь он принадлежит лесу... Лесу, лесу, и он сбежит в лес.

Мужчине надоело ходить взад-вперед, он остано-

вился, постоял некоторое время, разделся, бросил одежду куда попало, подошел к кровати, постоял и там, потом лег, но сон не шел, он долго ворочался в постели и подозвал женщину. Ланенок рассердился, зафыркал; подастся вперед и остановится, фыркнет и замерет; женщина хватается за ланенка, как за спасение, хватается и трепещет, успокаивается и трепещет, когда голос лохматого мужчины повышается, когда просьба звучит приказом, приказ — просьбой, гнев — примирением, примирение — гневом. Трепещет и дрожит, успокаивается на миг и снова дрожит; ланенок фыркает, хочет встать и не может, фыркает и блеет.

Мужчина сердится, садится на кровати и приказывает: «Выгони его во двор!»

Потом наступает молчание, молчит мужчина, а то ветер свистит порой, вопит пронзительно, свистит монотонно и не очень-то тревожно, но ее все равно пугает, она дрожит, стучит зубами, молчание длится, молчание мужчины, конечно же, женщина дрожит сильнее, приказ или просьба приносили ей большее спокойствие, царит молчание в комнате, за окном свистит ветер; раздается шорох, мужчина встал у нее над головой, прикоснулся к ее плечу, женщина стряхнула руку, тогда он схватил ее за руку.

Женщина вырывает руку, ланенок бодает мужчину, мужчина хихикает, ланенок фыркает в ярости, мужчина забирает морду ланенка в огромную руку и сжимает ее, ланенок мотает головой, задыхается, женщина вырывает его из рук мужчины, ланенок хрипит, задыхается, ему не хватает воздуха; свистит ветер, ветер врывается в комнату, но все равно воздуха не хватает. Лохматый мужчина заскрежетал зубами, торопливо оделся и выскочил во двор, захлопнув за собой дверь, с грохотом прошел балкон, с грохотом спустился вниз по лестнице и с грохотом идет по узкому проселку, но звук шагов постепенно уменьшается, уменьшается, прекращается, прекращается, и вдруг снова раздается грохот во дворе, на лестнице, на балконе; он с грохотом врывается в дверь, бросается на ланенка и тащит его, женщина хватается за ланенка, пытается отнять его, защитить, но мужчина с силой его вырывает и волочит по полу; ланенок блеет, — но какое там, — волочит.

Женщина плачет, опустила на колени, вытянула руки вперед и плачет...

А что же утром?

Сверкает утреннее солнце. Воят, визжат взбешенные мальчишки, запускают стрелы, стреляют из рогаток, воят и хохочут. Трещат и девчонки, ланенок висит на липе, ланенка повесили на липовой ветке, — в него попадают и кричат, визжат, ржут. Девчонки все так же трещат, трещат и трещат.

Сверкает утреннее солнце. Зеленеют луга. Тропинка плывет по лугам. На тропинку смотрит лес, смотрит, замер оскорбленный.

XXII

Едва прорезались глаза, как выстрелили из ружья, невинная кровь пролилась на землю, сколько мук и терзаний пришлось перенести, а выздоровел, выздоровел все же, выздоровел — и повесили, и более невинной жертвы быть не могло.

Эли содрогалась не из одной только жалости к ланенку, недобрые предчувствия сжимали ей сердце — она ждала продолжения этой вспышки безудержного гнева; о каком уже концерте, приеме и подружках, которых называли Элиной стаей, могла идти речь, оставаться в Квацixe больше не хотелось, но и в Тбилиси не хотелось ехать, трудно сказать, чего ей хотелось, быть может, одиночества — скорее всего: тем не менее появление Георгия было ей приятно и несколько ее утешило, Георгий прикрикнул на мальчишек и глупых девчонок, снял ланенка с дерева и унес, ничего больше, даже не обернулся и слова ей не сказал. Наверное, обиделся, а может и нет, но что-то случилось, а что именно, она не могла понять. Бог с ним, только бы оставили ее в покое. Куда там, впрочем, сама приглашала и, следовательно, надо было встречать — коли взяла на себя обязанность управительницы вечера, должна управиться. И Эли превозмогла себя, лицо ее приняло такое выражение, словно она знает не знает, что такое печаль, глаза загорелись радостным светом, словно никогда не видели зла: она вся засверкала и озарилась (однако время от времени ка-

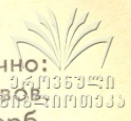
кая-то тяжесть так давила ей на сердце, казалось, подкашиваются колени и земля уходит из-под ног, но стая неотступно сопровождала ее, стая подружек, подбавляла, подхлестывала, ничего больше. Тем временем гости начали прибывать, поднимались из ущелий, ведь Квачихе располагался выше остальных местностей, почти на уровне Цхрацкаро, одним словом, гости шли, собирались, группировались в ожидании чудного праздника. Эли казалось, что все провалилось, пригласила одних, а приходили другие, приносили записки приглашенных ею, записки с извинениями и обещаниями непременно подняться как-нибудь в другой раз, не повезло, срочные дела заставили вернуться в Тбилиси: одних увезли, других вызвали, третьи сами уехали, словом, вернулись в Тбилиси; о выдающихся и именитых докладывали, не достигшие славы или молодые являлись без доклада, я говорю, не достигшие славы, но кто знает, кого какое ожидало будущее, как бы кто прославился, кто знает... Возбуждена была все равно Эли — поникнет, загорится, трепещет и стая Эли, растерялась и не теряется, рассеивается и собирается, щебэчет и чирикает, будто ничего особенно не случилось: «Пожалуйста, пожалуйста, дорогие наши гости!»

И пожаловали...

Столы были накрыты во всех семьях, почти во всех, и в домах, и во дворе — кто как желал, только все на скорую руку, перекусить, так сказать, а главное — потом, после концерта.

А пока стояло солнце, пока был день, день кипел, праздновали сперва квачихцы, народ праздновал по своему обычаю: на площади веселились, на единственной маленькой площади, там же собирались очертить круг для состязания борцов, там же собрались ряженные, обошли все проселки с шумом, гамом, там же поднялся на огромный камень слепой чтец, прочел «Бахтриони» от начала до конца, потом заявил, что и «Димитрия Самоотверженного» прочтет там же, на той маленькой площади. На каждого нашелся слушатель и зритель, но все равно все тянулись к ряженным, смех притягивал людей, они предпочитали веселье и если спасались, только благодаря любви к веселью, восторгу, обожанию всего возвышенного.

А среди квачихцев для вспышки всеобщего ве-



16 1935020
0101033

селья и одного появления ряженных было достаточно: медведя, волка, лисы, зайцев, Нацаркекиа и дэвов, моллы и шаха, и шаха несли на имитированной верблюжьей спине, а моллу впрямь посадили на осла, и осла вполне хватало для потехи, а тут еще и шах и молла, чужеродные чучела, что некогда властвовали и измывались над их предками, потом, как это всегда бывает, тиранов погнали в шею и теперь представляли на площадях таким вот образом. Ну а Зизила? Одной Зизилы хватило бы для безудержного веселья: именно ее усадили на осла или она сама пожелала сесть, это все равно, и венцом увенчали ее голову, и колючими прутьями обвили тело. Венец и прутья были ежевичные. Ежевика попевала, краснела, чернела, Зизила отщипывала спелые ягоды, подбрасывала и подставляла раскрытый рот, и ловила, и промахивалась. Смотри по тому, как того желал осел, животное, известно, упрямое и своенравное, а тут еще и всадница под стать, осел брыкался, Зизила визжала, впивалась ему в холку, и Нацаркекиа был в своем амплуа, выжимал сок из камня, поднимал ураган пыли на мокром берегу реки, дэвы крошили камни, но сок из них выжать не могли, все ноги себе поотбивали, но ветер поднять не сумели, волк оседлал медведя, заяц — лису; хихикал волк, гоготал волк, смеялся над лисой, да ты, говорит, простофиля, как это заяц тебя обманул?.. Не заяц меня обманул, отвечает, пыхтя, лиса,—ну-ка, вверх посмотри, на спину свою.... Наверное, в небе парил орел, люди смеялись, все происходящее казалось им смешным или в самом деле было смешно.

Вроде бы и Петре плутал среди ряженных, или это был кто-то другой, ковылял, кто бы ни был, появлялся то впереди, то позади, то на осла пытался вскарабкаться, то на импровизированного верблюда, катался по земле, свернувшись ежом, люди догадывались, отгадывали, галдели люди. Отгадывала и стая Эли, шумела, тебила Эли, пыталась растормошить ее.

Зизила подъезжала, подгоняла осла, подъезжала и предлагала ежевику.

Стая Эли щипала ежевику, сверкали вымазанные ежевикой губы у стаи Эли, глаза сверкали.

Сдирала Зизила с себя ежевичные ветки, как цветы, бросала в стаю Эли.

Звонко смеялась стая Эли, звонко смеялась

Только венец не снимала Зизила, сидела на осле с венцом из ежевичных прутьев и упрекала Эли:

— Ланенка для меня пожалела...

— Пожалела.

— Повесили его у тебя?!

— Повесили.

— Ха-ха-ха-ха-ха...

— Тебе не жалко его?

— Жалко. Хи-хи-хи...

— Чего же тогда смеешься?!

— Если я Бахчо у тебя попрошу?

— А?!

— Если мужа, говорю, у тебя попрошу?

— Зизила!

— Да, я Зизила, отдашь или нет. ответь!

— Но ведь я ничего плохого тебе не сделала?!

— Господи! Ведь и я тебе добра желаю!

— Тогда развлекай людей чем-нибудь другим.

— Нашла шута! У меня своя печаль, отняла у меня

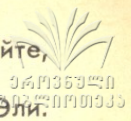
Цруто эта твоя Гульчина, ищу замену, замену хочю, помогите, люди! — взывала Зизила, и развлекались люди, якобы выталкивали из толпы замену, одни выходили сами, Зизила всех отвергала, требовала: если не Цруто, так Бахчо приведите, если не Бахчо, так Каро доставьте. А это кто еще, Каро? — спрашивал кто-то, но никто не отвечал, Зизила капризничала, словом, люди развлекались, кто во что горазд.

А Эли воспринимала все это как дурное предзнаменование, насилу держалась на ногах, колени дрожали, дрожали руки, дрожал голос; еще и Зизила не давала покоя. Куда-то нырял ежевичный венец, скрывался в каком-то проулке, за каким-то плетнем и выскакивал где-то в противоположном конце или прямо в середине стаи Эли.

— Ку-ку!.. — визжала Зизила, пугалась стая Эли, осел мотал головой, брыкался, фыркал, сердилась стая Эли; Зизила успокаивала: безобиднее нас не сыскать никого на белом свете.

— Мы и не боимся вовсе! — негодовала стая Эли.

— Мы с ним, я и мой осел, никакого вреда вам



не причиним, не убегайте от нас, от других убегайте, от других, от искусителей...

— Мы и других не боимся, — ершилась стая Эли.

— Остерегайтесь, советую вам, остерегайтесь: полон соблазна бренный мир.

— Хорошо, хорошо, — менее уверенно отвечала стая Эли.

— И на Цхрацкаро не поднимайтесь...

— Согласны, — склоняла головы стая.

— Хи-хи-хи-хи-хи... — смеялась Зизила, точнее хихикала, — не согласитесь, сами пожалеете! — хихикала и облизывала губы, чуть ли не подбородок облизывала, ежевичный сок стекал по губам и подбородку: ее вид вызывал отвращение, остроты надоедали, от нее хотелось отвязаться, как от чего-то мерзкого и жуткого, благо берикаоба¹ подходило к концу, заканчивалось веселье квацихцев, а если и не заканчивалось — маленький зал не мог вместить всех желающих, деревня бы продолжила свой праздник на площади, но что ждало их в зале, во что бы вылилось торжество в зале — бог весть.

И засомневалась стая Эли.

В середине Элиной стаи из рук в руки переходили листки бумаги, собирались вместе, склоняли головы неразлучные подружки над исписанными листками, но ничего примечательного не могли вычитать, не знали ни сдного имени: ни артистов эстрады, ни оперных певцов, ни исполнителей народных песен, и поэты пожаловали какие-то мало кому известные, а то и вовсе неизвестные, их стихи никто не мог вспомнить, и, значит, встреча ничего радостного не сулила, не стоила стольких треволнений, ожидания, переписок и прочего, их хлопоты оказались тщетными, молодежь сама устроила концерт добровольцев-неудачников, устроила на скорую руку и, естественно, обратились бы к стае Эли с просьбой уважить и присутствовать; уважили и присутствовали. Кому нужно было созывать столько гостей, расходовать столько средств, вкладывать столько

¹ Берикаоба — карнавальное шествие с масками, ряжеными, представлениями, часто на историческую тематику (груз.).

труда? Хотя расходовалось только принадлежащее Зурабу, ведь он ждал своих сверстников, тех, от которых отстал, о ком мечтал в своем уединении, кто прославился своими заслугами, большими заслугами перед отчизной, кого он хотел отблагодарить, как-нибудь отблагодарить, и теперь что бы он сказал, когда вместо них появились дублеры? Концерт дублеров перед дублерами зрителей, грубо говоря, два сапога пара.

— Я не могу тут. Мне тяжело, — вырвалось у Эли.

— И нам трудно, — обижается стая Эли, сплоченность дает трещину.

— А мы возьмем и на эти отроги поднимемся, — вырвалось у кого-то.

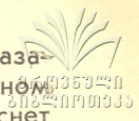
— Вот вам и дубль Цхрацкаро, — прибавляет кто-то.

Недовольно морщится стая Эли.

Недовольно морщится она и на концерте, но все равно рукоплещет, все равно была лучезарна стая Эли, и рукоплещет, поддерживает зал — неудобно перед участниками, которые упорно смотрели в их сторону и в благоговении склоняли голову, неудобно было, и даже «бис» выкрикивала стая, хотя и боялась, как бы не приняли их биссирование за чистую монету. Они, может, и поверили, им очень даже хотелось повторить свои бесцветные выступления, но, увы, их пришлось слишком много, времени не хватило бы на всех, к тому же не дали никому выделиться, ни в коем случае, аплодисменты раздавались всем поровну. Понятно, таланты каким-то одним мерилom были измерены.

И гремел зал, гремели голоса и инструменты, кто кого перекричит, кто кого перегрохочет, казалось, вот оно, начало и конец искусства. И гремел зал, гремел и звенел, еще немного — и треснет купол, сотрясаются, дрожали, скрежетали бревна, — еще немного, и купол взлетит в небо, разлетится в щепки, рассыплется, и трепет объял стаю Эли, она, Эли, морщилась недовольно, смотрела на купол, испуганно поглядывала на стены, вздыхала и рукоплескала, вызывала на «бис», а как же, коли однажды вырвалось, уже нельзя было не кричать, да и не простили бы, нет, нет, не простили бы, — рукоплескала и кричала, таращила испуганные глаза, гремел зал, гремел, и сотрясался купол.

Сотрясался, или как бы там ни было, но Зурабу



ничего похожего не виделось и не слышалось, не казалось, не представлялось. Он сидел на своем обычном месте, в конце, в углу, и не боялся, что купол треснет или стены обвалятся, не боялся и ничему не удивлялся, и рукоплесканиями себя не утруждал, слегка улыбался, приоткрыв рот и сощутив глаза, слушал песни, исполненные восторга, восторженные стихи о счастье и жизни и стихи о ненависти, песни о ненависти и угрозах в адрес тех, кого не радует наша радость. Слушал и ничему не удивлялся, и не жалел, что не сбылась его мечта, в сущности мечта и не должна сбываться. И тем не менее хороший концерт мог состояться, столько замечательных исполнителей собралось в Боржоме и окрестных ущельях, и вот вам, вдруг взяли и разъехались. Зураб не удивился и этой вести — минула пора страха и удивления, на сей раз — окончательно и бесповоротно, а то и прежде, бывало, проходили страх и удивление и возвращались снова, и не раз возвращались. Да, теперь ему было все равно, и он сидел и улыбался, а как же иначе? Грустить значило сразу же обратить на себя внимание, впрочем, если он ничему не удивлялся и ничего его не пугало, то и грустить было не от чего! Одного он все же не забывал — выйти так, чтобы не напороться на стаю Эли; пристанут с вопросами, как, мол, да что вам понравилось, — об этом он не забывал: надо было уйти пораньше, опередить их хотя бы на шаг, только это его и заботило, и, верно, этому он и улыбался.

И гремел зал, казалось, купол взлетит, взлетит и пусть, снова бы поставил его Зураб... если бы дали ему это сделать, разумеется.

— Бииииииииссссс!.. — визжала стая Эли, и дрожь понимала ее самое — как бы и вправду не повторили.

XXIII

И все равно стая Эли вместе со всеми остальными поднялась на Цхрацкаро. Эли тоже. О других, прочих женщинах я не говорю, поднялись и те, естественно, потому что приехали как бы в основном ради этого. Название горы было у всех на устах, и конференсье

без конца повторял его при каждом своем появлении, к месту или не к месту, повторял до бесконечности, и вслед за ним — и исполнители, даже посвятили юмористическую сценку, и песню, и стихотворение, пламенное стихотворение, воспевающее великую зарю.

С той же горячностью отправились в дорогу, ужин не доели, поднимемся, дескать, там продолжим. И продолжили, понятно, зажгли факелы, расстелили скатерти, опорожнили хурджины, свалили на землю бурдюки, разбросали по траве роги, сели и, как говорится, стрельнули пробками в потолок, в небо то есть, — это мужчины. Женщины решили до рассвета отдохнуть в палатках, и Элина стоя в данном случае исключения не представляла, я уж не буду о других женщинах говорить — слишком растянется рассказ, рассеется, рассыплется, потому как каждая женщина, ни больше ни меньше, целого романа потребует, а сколько их собралось? Перечислять не стоит, важно, что все поднялись туда с одной мыслью, с одним желанием — увидеть невиданную красоту природы, красоту восходящего солнца, поднялись и расположились в палатках, кто как пожелал, кто нырнул в спальные мешки, кто завернулся в бурку или зарылся в сено. Одна Эли никак не находила себе места: вошла в палатку, вышла обратно, вошла, вышла, взялась было за бурку, да отбросила, поплотнее закуталась в неразлучную свою шаль и снова вышла из палатки, то ли захотелось побыть на свежем воздухе, то ли кого-то заметила возле палаток, едва освещенных светом факелов, конечно же заметила, — чья-то тень выделилась из глыбы тьмы... Эта ночь не походила на летнюю, пасмурная, безлунная и беззвездная ночь, если не считать пары-другой тусклых звезд, безотрадно мерцающих в небе, угасающих и падающих в тучи, похожих на привидения самые разные и странные, смотря по тому, у кого какое было воображение, кем в какой мере владело чувство страха. Эли не испугалась ничуть, и воображение у нее не разыгрывалось. Она с такой уверенностью направилась к тени, будто ждала ее, и остановилась поодаль.

— Это ты?

— Я, — словно бы потусторонний шепот раздался в ответ.

— Тебя не видно было... — Она ступила шаг вперед.

— Не смог прийти, — шепот стал громче или слышней — на один шаг.

— Хотя бы на концерт... — сделай она еще шаг, они столкнулись бы.

— Почему «хотя бы на концерт»?! — спросила насмешливо тень, или Георгий, похожий на тень.

— Не знаю... — произнесла она и задумалась, — не знаю... не знаю... — повторила она погода и по-нурила голову.

— Не знаем... Ничего мы не знаем... — как бы утешил ее Георгий.

— Не знаем?! — женщина почему-то встревожилась.

— Нет, не знаем и... Ничего!.. — отрезала тень.

— Как бы там ни было, тебя мне не хватало... о причине не спрашиваю... я бы все равно не смогла танцевать.

— Я тоже... Я тоже не спрашиваю причины.

— Так даже лучше... Оставим.

— Тогда и говорить будет не о чем.

— Тем лучше!.. — словно обрадовалась Эли.

— Тогда прощай!

— Постой!.. — Эли чуть не вскрикнула, увидев, что тень отвернулась. Подалась вперед, прильнула к ней, и прильнула и словно нет, словно и вправду перед ней была тень, словно и она сама обратилась в тень.

— Это еще зачем?! — буркнула тень Георгия, или истинная тень. Он словно и в самом деле ушел, отошел в мир иной, унес с собой печаль, боль и по-прежнему ему было беспокойно, даже в вечной обители, и он вернулся только затем, чтобы сказать что-то важное, но не давали сказать.

— Молчание тоже красноречиво, если понимаешь друг друга... — сказала женщина и отпрянула, будто и вправду соприкоснулась с призраком.

— Говорят, — подтвердила тень или вовсе не тень, а самый что ни на есть живой человек, — но только если понимаешь друг друга, иначе молчание бессмысленно, порой молчание — коварство, и бессилие — то-

же молчание, попытка сберечь свою червивую жизнь и пожертвовать другими, пожертвовать всем — тоже молчание, и суета — молчание, молчание — смерть, жизнь живых трупов... — выпалил он задыхаясь и усмехнулся, хихикнул зло, не по-человечески хихикнул, наверное, как тень, но умеют ли тени хихикать?

— Ты меня пугаешь... — Она съежилась, огляделась, словно искала защиты. Поодаль пылали факелы, пламя, извиваясь, тянулось кверху, и казалось, тени пирующих подбирались все ближе, переплетались друг с другом, перемешивались тени, Эли проваливалась в мир теней, они надвигались на нее.

— Я или они? — спросила тень, которая приблизилась первой.

— Они тоже! — Эли спрятала лицо в ладони, плечи приподнялись, и голова ушла в плечи, словно так и только так она нашла бы спасение.

Тень пожалела ее, та самая, близкая тень. Она прикоснулась к съезжившимся плечам, приласкала ее, словно сожалела, что досадила своими неприятными разговорами, вроде бы успокоила, или нет, конечно же — ведь она не почувствовала прикосновения руки, показалось, будто лист на нее упал, желтый лист, который сорвало ветром, или даже не желтый, не осенний, не сухой лист коснулся, а, наверное, истлевший, перезимовавший под снегом, подхваченный ветром со дна ручейков, холодным ветром ранней весны. Должно быть, она почувствовала бы облегчение, если бы ощутила нечто более сильное, более сильные руки, пуская даже призрака руки, ей было бы лучше, если бы он подхватил ее, унес, закружил где-то наверху, на самом верху, завертел и швырнул хоть в преисподнюю, хоть в самое пекло солнца, все что угодно, только не этот едва слышный, неживой шепот, эта горечь человека, примирившегося с судьбой, эта жалость самой жалости, только не это легкое прикосновение пальцев, похожее на прикосновение листа. И он словно понял ее, повернулся и пошел прочь. Эли невольно последовала за ним, споткнулась о камень. Он приостановился, будто ждал, упадет она или нет. Она не упала, и он продолжал путь, она снова последовала за ним. Он спустился по склону, словно нырнул в темноту, она по-прежнему бездумно, независимо от себя, шла за ним,

хотя, впрочем, кто знает — бездумно ли, может, она их ждала, сильные руки, которые унесли бы ее куда-то в небеса и сбросили бы в преисподнюю, возможно, словом, он спустился, и она спустилась следом. Он оставался около большого камня. «Камень тут большой, — услышала она (его самого не было видно), — большой камень, — повторил он, — осторожней», — и протянул руку. Она ухватилась за его руку, вцепилась, казалось, не отпустит его больше, и у него прибавилось сил.

— Вот... — снова прошептал он.

— Что? — спросила она, будто вспомнила вдруг, вздохнула тяжело.

— Я похоронил его здесь.

— Ланенка...

— Да...

— Жаль его... как человека жаль.

— Он и промучился, как человек.

— Не упрекай меня.

— Нет, за что! Мы и людей не можем уберечь, животных тем более, природу тем более. Нет, уже ничего.

Женщина пошатнулась, казалось, вот-вот упадет: он подхватил ее сильной рукой.

— Отпусти! — сказала она.

— Сорвешься. Тут крутой спуск.

— Пусть... Не хочу больше этих проповедей беспомощности, пусть будет круто, пусть.

— Ха-ха-ха... — он засмеялся, и ущелье ответило раскатистым эхом. Отозвалось ущелье, отозвалось на его смех и смех пирующих — ожидающих рассвета, восхода солнца. Он взял женщину на руки, подхватил ее и закружил в самом деле, обвел вокруг камня и опустил — вывел на тропу и попрощался. Она не пыталась остановить, не просила остаться, хотя бы просто так, безо всякого на то желанья, и тень исчезла, исчезла как-то постепенно, под конец видна была лишь тень руки, помахавшей на прощание, исчезла и она, сорвалась вдруг, и откуда-то снизу донесся глухой шум падения.

Она не вздрогнула, не испугалась, повернулась спиной к горящим факелам, направилась к палатке,

Отар Чхеидзе. Лабиринты ущелья.

но и здесь оставалась недолго — вытащила бурку, разостлала у входа и легла.

Таяла ночь — и растаяла, таяла медленно, постепенно. Растаял свет факелов и шум пирующих. Факелы уже не светили, только чадили.

Над оврагами и горами висели тучи, рассвет наступал в тумане.

Тучи нависли тяжелые, темные, светлеющие на востоке, — туда подошло солнце и пыталось прорваться.

Ну и что, пусть даже прорвалось, — это уже не было бы Рождением солнца, проморгали Рождение солнца — тучи его покрыли.

XXIV

Потом разыгралась непогода.

Они все равно не попали под дождь, успели спуститься, опередить буквально на шаг. Дождь полил сразу, и сразу же перестал, и снова полил, и так без конца. По склонам гор понеслись ручейки, ручейки превращались в ручьи, заполняли овраги, прибрежные леса, вода доходила деревьям по самое горло, кто ведает, что за чем бы последовало, я не могу уследить за всем, понятно; кто как желает, пусть так и представляет себе ненастье в горах, квацихское ненастье; кто видел, пускай вспомнит, а я вернусь к Эли и ее стае. Они, естественно, спустились с Цхрацкаро вместе с остальными, спустились и заскучали, обиделись еще наверху на кого-то, и почему обиделись — неизвестно; возвращались, понуриив головы, не глядя друг на друга; не обмолвившись словом, разошлись в разные стороны — кто где квартировал; никто никого не провожал, гостей и тех бросили на произвол судьбы, не приглашали в дом переждать непогоду, не просили навдываться; скука воцарилась в домах, дачники закутались в шали, платки — кому что попало под руку, — и, облокотившись о подоконники, прижались лбами к стеклам, ожидая, когда появится супруг и даст знак приготовиться к отъезду.

Это что касается стаи Эли.

Эли тоже смотрела на проселок, только никого не ждала, никого и ничего. И здесь ей не хотелось оставаться, и в Тбилиси не тянуло, как я уже сказал одна-

жды, так и сейчас, ничего не изменилось. Всем наскучила игра в дачников, стае и другим, да и дачный сезон подходил к концу, подходил к концу сезон гор и ущелий, вновь потянуло в долину, точно древних кочевников. Им наскучило, а Эли надоело, надоеть надоело, а тянуть никуда не тянуло, главное, она не ждала никого и ничего; и тем не менее дверь открылась, открылась неожиданно, когда она стояла к ней спиной и смотрела в окно. Она не успела оглянуться, что-то ударило ее по ногам. Она не испугалась, не посмотрела на ноги. Повернулась, выпрямилась и уставилась на открытую дверь, на застрявшего в дверях, разинувшего рот, обнажившего клыкастые зубы, беззвучно хихикающего Бахчо. Беззвучно, да с такую радостью, чуть глаза из орбит не вылезли. Только тогда Эли опустила глаза. Что-то странное валялось у ее ног, какая-то шкура или обрывок шкуры, что-то вылепленное, то ли скомканное, размалеванное красками, специально размалеванное и грязное, похожее в то же время на какого-то зверя, который придушен, но не мертв и вот-вот придет в себя, вскочит и убежит или попросит ее о защите, спасении, но защитить она не могла никого, ей бы самой просить о защите и спасении, но кого? Не того же, который торчал в дверях и скалил зубы?! Ей оставалось одно: не смотреть больше — не раздувать возникшего подозрения, не стараться убедиться в истинности своего подозрения, скрыть его. И она закрыла глаза, и тут вырвалось:

— Неужели?!

— Ха-ха-ха-ха-ха.... — это уже был громкий смех, хохот, сильный, зычный, радостный, задрожала дверь, задрожали стекла окон, даже потолок — даже потолок вторил хохоту Бахчо.

— Ах!.. — снова вырвалось у нее, словно сердце оборвалось, она сгорбилась, согнулась, съежилась и упала на колени. Так и застыла, наклонив голову над шкурой, над маской дона Педро-Пьетро-Петре, или Георгия, над окровавленной маской, с кровью, которая не успела высохнуть. Довольно долго она стояла так, потом шевельнулась, тронула рукой окровавленную маску, осторожно, очень осторожно тронула, взя-

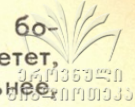
ла ее в руки, долго разглядывала, потом внезапно прижала к груди и заплакала.

Дверь дернулась, казалось, готова была вывалиться — Наслаждайся!.. — раздалось горько и желчно.

Хлопнула дверь и распахнулась от силы удара, и раскачивалась, и раскачивалась долго...

Когда-нибудь она бы остановилась, всему есть конец, есть конец и у этой истории, мне осталось рассказать не особенно много: добавить кое-что, кое-что объяснить, если ты читал внимательно, если ничего не пропустил, ни строчки, не обижайся за такое к тебе обращение, ведь сказано: «Обжегшись на молоке, дуют на воду».

«Не поняли», — артачатся критики, и я артачусь в свою очередь, дочитай, говорю, тогда и поймешь: точнее сказать, это они пристали в одну душу, а то я ведь до небес прав, как говорится: коли они хвастают, что поняли Важа, Джойса, Элиота, Галактиона, Кафку (да еще как хвастают!), кто же будет им непонятен, если они захотят открыть глаза?.. Тем не менее кое-что надо объяснить: хотя бы, как и почему Георгий пресобразился в Петре и не выдержал своей роли до конца, это надо объяснить и заодно напомнить, что Георгий — тот самый Георгий Итриэли, которому вместе с братом удалось выбраться из окружения и он счутился в Квацихе у Зураба — дяди с материнской стороны; потом братья подались в Ахалцихе, одному удалось уйти за кордон, Георгий не смог, вернулся к дяде и обосновался у него, чем он там занимался — тебе известно, и почему должен был изменить свой облик — верно, понятно; я все равно должен доказать — он бежал и потому вынужден был измениться, спрятаться от подозрительных глаз, изменился и спрятался, вернее, ушел от людей, ушел от волнений, смут, переполсов, от растерянности, безрассудства, от всего, что было злого и доброго, от всего человеческого, и превратился в обломок скалы, грабовый, дубовый пень или что-то еще, все равно, — когда он, бывало, валялся на опушке леса или даже на полянке, или каменном берегу реки, он и вправду походил на пень или глыбу, сорвавшуюся с крутой скалы. Он лежал неподвижно, казалось, испустил дух, или сам вырвал человеческую свою душу и вставил душу корней



или душу камня, душу листьев, душу цветов, душу божественную, которая повсюду пускает корни, цветет, растет, радуется и стонет к тому же, стонет сильнее, чем душа человеческая, все предающая, все отвергающая, ибо наполнена она неумным стремлением. Обладатель души этой валялся где-нибудь на лоне природы, поодаль паслась скотина, утоляла голод, сопела, жевала жвачку; колокольчики сердито звенели, когда животные отмахивались от мух или облизывали укусы, потом снова сопели, жевали жвачку. Он жвачки не жевал, не сопел, и бубенцами не позванивал, и укусов не облизывал, естественно, валялся себе, а если переворачивался, таким образом, что казалось, пнули пень. Разве что ураган и ненастье могли заставить его подняться или не то что заставить подняться — скатиться пнем в укрытие. Ковылял по тропе тот же пень, покатившийся пень — и скотина сама спускалась со склона, шла по тропам, позванивала бубенцами. Он знал — соберется она в хлеву все равно, особенно следить не приходится. В хлеву ждала Талала, Талала знала свое дело. Не забывала она и о нем, подавала и поест и выпить, и сама подсаживалась, внушала, учила, в дом зазывала; он не слушал ее, будто и в самом деле был глухим и слепым, слабоумным.

Снег гнал его в дом, большая зима гнала в дом, большие ночи и... он ложился рядом с Талалой, ложился и на рассвете проклинал свою судьбу, участь свою проклинал и ждал весны, чтобы снова стать частью леса, снова очиститься цхрацкаройским утром, омыться цхрацкаройским солнцем. Наступало лето, естественно, и все пересоздавалось, все начинало звучать иначе, впридачу городская жизнь врызалась в сельскую тишину, приносила с собой беспокойство, душный воздух, он сбрасывал все, стряхивал с плеч и зиму и уходил в лес, избавлялся от тяжелого осадка. Дул ветер, неслись потоки, он очищался, обновлялся и трепетал, трепетал в ожидании стихов и грязи, потом опять все постепенно менялось, или менялось одним духом, он уже не понимал, горы теряли величие, лес терял таинственность, блекли краски лугов, тускнели, линяли, крутые скалы теряли полет, испуганно, жалостливо

смотрело цхрацкаройское солнце, погружалось в облака и уже не могло высвободиться — тащилось по чистому небу надорвавшееся солнце. Опять же весна вдыхала в него силы, начинали пестреть тропы, звонко смеялись ручьи, переговаривались на разные лады, начинали петь ущелья, щебетать, танцевать, плясать, устремлялись вверх в горы, замирал лес с той же таинственностью, и солнце возвращало свое величие, солнце цхрацкаройское. Встречали его с радостью, исчезал мутный осадок, грязь исчезала, не нужны были уже ни ураганы, ни потоки, ни снег, и зима была не нужна, и длинные, долгие ночи, жуткие ночи, ужасные ночи, ночи Талалы, ночи неизмеряемой страсти не нужны были, а уйти он не мог, бежать не мог, нет, уже не мог, чем больше уходило времени, тем труднее становилось уходить, хрустела соломой скотина, стоял запах сена, молока и навоза, прелый, душистый, Талала вертелась без устали и не давала ему покоя; мерцала копилка, трещали грабовые пни. Он, замученный раздумьями, истерзанный мечтой, погрязал в уродстве, погрязал и погрязал, разве что опять же весна выручала, потом лето, когда Тбилиси наводнял Боржоми и Боржомское ущелье, разве что опять выручала весна (в который раз!), но скорее лето выручало. Он стоял на лугах, на крутых скалах, иные краски горели в зелени, иные звучали голоса, голоса Тбилиси. Были среди них и знакомые, конечно, и желанные голоса, по которым истосковался. И он ковылял по Боржоми, издали украдкой наблюдал за знакомыми и незнакомыми, слушал, чуть высунув голову из-под маски, и тут же прятался в страхе, измученный страхом и желанием, уже необъяснимым и непонятным, и он хватал себя за горло крепкими, сильными пальцами — норовил себя задушить, всегда синело горло, независимо от времени года, и дышать становилось все труднее, наверное он бы и удушил себя таким образом, наверняка задушил бы, но строительство Зурабиного зала отсрочило смерть — вначале мечта Зураба, потом строительство и мечта, потом зал и мечта заставили помедлить, и он дождал до поры, когда Эли прижимала к своей груди окровавленную маску и причитала, причитала. Он покончил с собой, предпочел: «умереть тысячекратно, чем врагу попасться в лапы», — как го-

ворил Арсен, он верил в это и не явился, когда вызвали, появились тогда сами — окружили хлев, загон, скирду, окружили с видом людей, которые пришли просто так, полакомиться пахтой, передохнув заодно после утомительной дороги. И все же он ускользнул, ускользнул отсюда и выскользнул далеко, на пастбищах, испещренных тропами, ведущими на Цхрацкаро, выскользнул, вынырнул и стал что твоя мишень, вот он, мол, я; эти стрелять не стали, окружили еще раз, еще раз стали над головой, — он еще раз ускользнул, исчез, затерялся, исчез отсюда и всплыл там вот... на голой скале и выпрямился, мишенью, подставленной под пули, и там его достали, и оттуда он ускользнул, уже не успели заметить, куда он спрятался, тот же Цруто сообщил, что в пчельнике; в пчельнике так в пчельнике, и окружили пчельник, позвали, увещевали, клялись, чего только ни пообещали, просили ответить всего на один-единственный вопрос, всего-навсего ответить на единственный вопрос, ничего больше, никаких дел больше к нему не имелось и, как обыкновенно говорится, он мог идти своей дорогой, а они своей, жужжали пчелы в пчельнике, трудились пчелы и жужжали, пели песнь трудовую, вольную, жужжали, пели, радовались солнцу, радовались жизни. Ничего другого не доносилось из пчельника, никаких других звуков, других голосов, и это ничего хорошего не предвещало (если кто был внутри — бог весть, что намеревался делать), и они начали с выстрелов, для устрашения, начали с выстрелов, перестали стрелять, выждали и снова открыли стрельбу, всполошились пчелы, взметнулись вверх, закружились роем, ожесточились, разъярились, налетели друг на друга. Песня радости оборвалась, оборвалась внезапно, и гневно загудел пчелиный рой, оно и понятно, мед капал из треснувших ульев, мед лился, и гремел пчелиный рой, словно какое-то неведомое доселе орудие, выстрелы и свист пуль были сущим пустяком по сравнению с грохотом разгневанных пчел; воистину сущим пустяком, потому что он сам сорвался в обрыв еще до того, как подняли стрельбу, и не слышал их требований и посулов; и в руках у него не нашли ничего, ничего не нашли

в карманах, ножа перочинного и то не нашли, одну лишь маску содрали, Цруто содрал, он же голову его повернул, бросил навзничь — смотрите, мол, если не верите... Гудели пчелы, гремели пчелы, схватились друг с другом возле ульев, дрались на земле, дрались в воздухе, сраженные пчелы падали вниз, гибли беспощадно, падали, падали.

Об этом мне оставалось рассказать — я и рассказал, добавлю еще одну небольшую картину, впрочем нет — две, две небольшие картины:

Картина первая — суть следующая:

В комнату следователя по особо важным делам вводят поэта. Поэт вздрогнул.

Ему как будто знакомо сморщенное лицо, длинная шея, плечи, вздернутые над столом как будто затем, чтобы казаться представительней.

Да, вроде бы знакомо, но кто его знает, он не может шагу ступить, взглянуть как следует; он и не хочет этого, смотрит, сощутив глаза, — мало ли кто встречался в жизни, одни дружелюбно, другие зло, третьи — никак, безразлично.

Но поэт не может поместить этого среди тех, в бесчисленный ряд друзей и недругов, или и не друзей и не врагов. Те, кажется ему, считаются, скрывают друг друга, заходят и выходят, как будто прощаются, прощаются с угрюмым видом, а этот здесь, и, естественно, его нет среди них.

— Как вы... насчет пари? — он сам ему напомнил.

— Аааа... — поэт раскрыл сощуренные глаза.

— Проиграли!

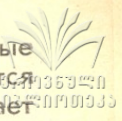
— Проиграл... — поэт засмеялся звонко и весело, со всей искренностью своей природы, и еще он засмеялся с явным чувством облегчения (вот ведь штука, из-за чего позвали?!).

— Проиграли! — повторяет тот многозначительно и с каким-то злым упорством.

— Я готов... Где угодно и кого угодно. Стол на десять человек... — помнится так.

— А если на сто? — он засмеялся.

— Сто? — поэт подхватил его смех. — Пари есть пари, слово есть слово, — он снова смеется, смеется искренне, но смех постепенно примерзает к губам, улещивается — такие морщины появляются у того на



морщинистом лбу, так он сжимает в кулак узловатые пальцы, таким пронзительным, колючим становится взгляд, и он начинает его допрашивать, забрасывает вопросами, под каким только соусом их ни преподносит, как только ни ловчится, а этот, поэт, ничего не может ответить толком, потому как ровным счетом не понимает ничего, а ему кажется, следовательно, что он не сумел заставить его признаться, он злится, стойкость стихотворца ввергает его в ярость.

— Проиграл! — кричит он.

— Проиграл, — отвечает поэт, остальных вопросов он, хоть убей, не понимает.

Поймет под конец, поймет, когда от него потребуют выдать штаб заговорщиков, сразу поймет и сразу же ответит:

— Я... Давид Гурамишвили... Иоанн-Зосиме... ,

И тот, следовательно по особо важным делам, торжествует, не доверяя телефону идет, точнее бежит, докладывать... самолично...

И потом еще —

обвиняемые садятся на скамью подсудимых; естественно, о чем говорить.

Но все же надо сказать, что эта история или картина (обвиняемые на скамье подсудимых) происходит семнадцать, восемнадцать лет спустя.

Одним словом, садятся.

Тот, со сморщенным лицом и тонкой шеей, входит последним и садится в последнем ряду, плечи не вздернуты, видно, ему больше не хочется казаться высоким, заметным, не хочется возвышаться над столом, впрочем, стола-то нет...

Одним словом, он садится на скамью, и прокурор в первую очередь обращается к нему:

— Вы выиграли спор...

— Да...

— Как вы его выиграли?

И он начинает рассказывать о том, как именно он выиграл спор, и глаза его становятся колючими, взгляд — пронзительным и пламенным, как семнадцать, восемнадцать лет назад, кажется, он позабыл, где и по како-

му поводу изволит находиться, почему его привели и спрашивают.

— Вы установили адрес Иоанна-Зосиме? — астаид
прокурор.

И тот улыбается, даже хихикает, и не поймешь — смеется ли над собой или над другими.

Еще и об этом я хотел рассказать — и рассказал...

До новой встречи!..

А что же еще?

Если спрашиваешь о Зурабе — взяли, разумеется, сам догадаешься, забрали и Талалу, естественно, что и говорить, только теперь уже я у тебя спрошу: узнал ли ты Талалу? Ты должен помнить ее под другим именем и совершенно иной и не удивляйся, если она так изменилась, не удивляйся почему.

XXV

Что же касается Цхрацкаро — там по-прежнему величественно восходит солнце, если хорошая погода, конечно, и непогода ходит своей дорогой, я и говорю, там по-прежнему величественно восходит солнце, одно только — никто не ждет его, никто ему не радуется, ни у кого не закружилась голова от великолепия, никто не мечтает еще раз там побывать... нет, никто. Порой кто-нибудь из любителей природы или искателей минералов окажется случайным свидетелем рождения солнца, придут в восторг и оставят свой восторг этот на месте его возникновения, с собой и не подумают забрать, ни с кем не поделятся, а если и поделятся, никого за собой не увлекут; всему, как говорится, свое время или у всего свое время; время Цхрацкаро отошло, отошло время великолепия Рождения солнца. Разве что иногда в мемуарах проявится тот восторг, прошлый восторг, разумеется, отошедший, история отошедших. Да если бы этого и не было, хотя именно поэтому Тбилиси не тянет в Боржоми больше, не тянет в Боржомское ущелье, горы, леса, на вершины. То ли они ему кажутся слишком тесными, то ли слишком глухими. Тбилиси пошел дальше и на черноморских дачах не уместился, потянулся к дачам иноземным. Разве что больные посетят боржомские воды, больные желудком, печенью посетят; ублажают, есте-



16 0350 20
010-2110333

ственно, желудок или печень, не устанут, не заторопят
ся, мензурками пьют воду, не преступят совета врача ни
в коем случае, а если все же нарушат его, если из пар-
ка украдкой поднимутся на плато, то по канатной доро-
ге, ясно, чтобы хвастать потом, хвастать и хвастать.
Иные, более решительные, посещают и Квабисхеви и
спешат опубликовать статью, вроде — куда вы смотри-
те, мол, в церкви обвалился потолок, портится фреска
с ликом молодого Руставели. О Цхрацкаро никто уже
не вспомнит, а если кто вспомнит, может ему и не по-
верят, что люди ходили пешком в этукую даль, может
и не поймут, почему, собственно, ходили, какая сила их
манила, какой огонь жег, кто знает, кто ведает?

Солнце... а что там солнце — вот оно, и горы
тут же!

Или что там восход солнца — ты на закат его
взгляни!

И спешат исцелить желудок, отправиться к морю,
чтобы насладиться закатом солнца.



ДЕКАБРИСТ А. М. МУРАВЬЕВ И ЕГО ЗАПИСКИ «МОЙ ЖУРНАЛ»

Александр Михайлович Муравьев (1802—1853), член Северного общества декабристов, неоднократно привлекал внимание общественности как автор записок «Мой журнал». Однако, несмотря на это, деятельность А. М. Муравьева в декабристском движении до последнего времени оценивалась исследователями ошибочно. Первые в исторической литературе акад. М. В. Нечкина убедительно показала, что А. М. Муравьев был сознательным и деятельным членом тайного общества (Восстание декабристов. Документы. Под ред. акад. М. В. Нечкиной. Т. 14. «Наука». 1976, с. 22. Сокращенно: ВД). Этот вывод, являясь новым и принципиально важным в декабристоведении, открывает новую страницу в изучении биографии А. М. Муравьева.

А. М. Муравьев родился 19 марта 1802 года в одной из аристократических и богатых русских семей, которая дала России двух дворянских революционеров — декабристов: братьев Никиту Михайловича (1796—1843), автора знаменитой «Конституции», и Александра Михайловича, автора публикуемых записок.

В тайное общество декабристов А. М. Муравьев был принят М. С. Луниным, очевидно, не позднее 1821 года. О деятельности А. М. Муравьева до 1823—1824 годов мы почти не располагаем сведениями. Известно о его участии наряду с К. Ф. Рылевым, Е. П. Оболенским и др. в деле освобождения от крепостной зависимости А. В. Никитенко (1804—1877), позднее ставшего академиком. В 1824 году А. М. Муравьев был вновь принят в общество, в деятельности которого принимает активное участие. Благодаря быстрым и смелым действиям А. М. Муравьева в руки правительства не попали антиправительственные документы и материалы, находившиеся на квартире декабриста Ф. Ф. Вадковского. Пользуясь доверием руководителей Северного общества, А. М. Муравьев получил право принимать новых членов. В 1825 году он принял в общество Н. В. Шереметьева, З. Г. Чернышева, Г. Д. Колокольцева. С его согласия были приняты А. Н. Вяземский и А. А. Суворов. А. М. Муравьев агитировал вступить в тайную организацию декабристов Э. А. Белосельского и Ф. А. Щербатова. Новопринятых членов А. М. Муравьев призывал быть готовыми «в жертвовании имени и самого себя». Он был знаком с проектом «Конституции», написанным его старшим братом, и ознакомил с этим важным документом других декабристов. Знал он и о существовании «Русской Правды» П. И. Пестеля.

А. М. Муравьев располагал важной информацией о деятельности Южного общест-

за. Он был посвящен в некоторые секретные планы цареубийства. Ему было известно о замысле Ф. Ф. Вадковского уничтожить царя и членов императорской фамилии во время бала в Белом зале дворца. А. М. Муравьев выступал против намерения А. И. Якубовича расправиться с Александром I весной 1825 года. По заданию общества А. М. Муравьев стремился установить наличие антиправительственного общества в среде высокопоставленных лиц. Он участвовал в сборе денег на нужды общества. В 1825 году у А. М. Муравьева неоднократно проводились тайные собрания декабристов, в которых участвовали К. Ф. Рылеев, Е. П. Оболенский, Н. М. Муравьев и др. (ВД. Т. 14, с. 20—22, 382—397).

А. М. Муравьеву было известно о намерении декабристов возмутить полки в день получения в Петербурге известия о смерти Александра I. Он был в курсе и других планов подготовляемого декабристами восстания. 11 декабря 1825 года К. Ф. Рылеев поручил ему собрать 12 декабря у Е. П. Оболенского членов общества для обсуждения плана восстания (ВД. Т. 14, с. 388, 390, 391).

14 декабря 1825 года А. М. Муравьев и некоторые другие декабристы предприняли попытку возмутить солдат Кавалергардского полка, но их действия успеха не имели (ВД. Т. 14, с. 385).

19 декабря 1825 года А. М. Муравьев был арестован и допрошен лично Николаем I. По распоряжению царя он должен был отбыть шестиме-

сячное заключение в Ревельской крепости. Однако следственной комиссии стала известна его активная роль в тайном обществе. 30 апреля 1826 года он был доставлен из Ревеля в Петербург и заключен в особый арестантский каземат № 28 в Петропавловской крепости. 5 июля 1826 года Верховный уголовный суд приговорил А. М. Муравьева к лишению чинов, дворянства, к 15 годам каторжных работ с дальнейшим пожизненным поселением в Сибири. По манифесту 22 августа 1826 года Николай I в очередной раз сократил срок каторги.

В 1832 году, желая поддержать своего старшего брата, А. М. Муравьев добровольно отказался выйти на поселение. До 15 декабря 1835 года братья совместно отбывали каторгу на Петровском заводе. С августа 1844 года до последних дней жизни А. М. Муравьев находился на гражданской службе в г. Тобольске.

А. М. Муравьев и его супруга Ж. А. Бракман не раз оказывали материальную помощь декабристам, ссыльным полякам, истражесцам, Ф. М. Достоевскому, С. Ф. Дурову, И.-Ф.-Л. Ястржембскому и другим жителям г. Тобольска.

А. М. Муравьеву принадлежит заслуга в деле развития народного образования. Он основал первое в Сибири Мариинское женское училище, преобразованное позднее в гимназию.

Незадолго до смерти А. М. Муравьев начал писать на французском языке записки мемуарного характера — «Мой журнал». Они остались не-

законченными и дошли до нас в нескольких различных списках. «Мой журнал» сразу же привлек внимание общественности, и в первую очередь декабристов, в частности И. Д. Якушкина (Журн. «Былое», № 25, 1924, с. 272—277).

Впервые французский текст записок А. М. Муравьева был опубликован в 1902 году в Берлине Т. Шиманом.

В 1922 году С. Я. Штрайх издал с дополнением русский перевод берлинской публикации мемуаров А. М. Муравьева. (А. М. Муравьев (Декабрист). Записки. Перевод, предисл. и прим. С. Я. Штрайха. Пг., 1922). Новое русское издание записок «Мой журнал» было осуществлено в 1931 г. П. А. Садиковым с французской копии, принадлежавшей Н. Ф. Дубровину. В целом оно мало отличалось от публикации Т. Шимана и С. Я. Штрайха. («Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов». Т. I. М., 1931).

В 1936 году М. А. Полиевктов проанализировал и перевел отдельные разночтения, содержащиеся в рукописи Тбилисского (Тифлисского) государственного университета записок А. М. Муравьева (Труды Тифлисского университета. Т. I. Тиф., 1936). В 1966 году «Мой журнал» был опубликован В. Цулукидзе на грузинском языке (Журн. «Мнатоби» № 1, 1966, с. 171—184).

Последнее по времени издание записок вышло в 1981 году под редакцией В. А. Федорова. В основу публикации положен текст, издан-

ный в 1931 году П. А. Садиковым. Две последние главы — «Сибирь» и «Иркутск» — впервые напечатаны в переводе В. А. Федорова с рукописи, поступившей в СССР из Италии (См.: «Мемуары декабристов. Северное общество». Сост., общ. ред., вступ. статья и комментарии проф. В. А. Федорова. М., 1981). Следует отметить, что значительную лепту в дело возвращения в СССР рукописей А. М. Муравьева внесли его внучка Н. В. Самойлович-Вачнадзе и правнучки Е. А. Вачнадзе-Гамрекели и Э. А. Вачнадзе.

Предлагаемый вниманию читателей новый перевод записок А. М. Муравьева «Мой журнал» осуществлен с рукописи Тбилисского государственного университета (2—0141668). В нем читатель найдет много нового и интересного по сравнению с ранее осуществленными публикациями. Рукопись ТГУ содержит важную информацию для характеристики общественно-политических взглядов ее автора. Сопоставительное изучение рукописи ТГУ с публикацией В. А. Федорова — «Сибирь» и «Иркутск» — свидетельствует о существовании более полной редакции записок, поиски которой, как нам представляется, должны быть продолжены.

В подготовке настоящей публикации принимали участие С. Габуния, И. Манденова, Н. Папава и Р. Крючков. Всем им выражаю свою глубокую признательность.

Отар ЖОРДАНИЯ



МОЙ ЖУРНАЛ

МОЕЙ ЖЕНЕ

Я ДОЛЖЕН рассказать тебе, дорогая спутница моей жизни, и нашим детям повесть о моей жизни¹. Читая эти строки, они узнают, что их ссыльный отец пострадал за прекрасное и благородное дело и мужественно нес оковы за свободу своей родины.

После кратковременного и злополучного царствования Павла² восшествие Александра³ на российский престол было встречено всеобщим и искренним одобрением. Никогда еще у нас не ждали с таким нетерпением наследника власти. О сумасбродном царствовании старались поскорее забыть. Все уповали на воспитанника Лагарпа⁴ и Муравьева⁵.

Муравьев (Михаил Никитич⁶), член многих ученых академий, завершив воспитание Александра, стал сенатором, государственным секретарем, товарищем министра народного просвещения и попечителем Московского университета. Любовь к изящной словесности сочеталась в нем с благородным и возвышенным характером. Умер он в С.-Петербурге 29 июля 1807 года. Он написал много трудов для своего ученика.

В начале своего царствования Александр был преисполнен благородных намерений. Он положил конец ужасам и бессмысленным притеснениям предыдущего царствования. Он поставил своей целью предать забвению вопиющие несправедливости своего отца. Слова его, как и дела, дышали добротой, желанием снять любовь. Рабство и неограниченная власть были

противны его еще молодой здоровой душе. Ответ гос-поже де-Сталь⁷ доказывает это: «В любом случае я лишь счастливая случайность». 13 января 1813 г. Александр писал князю Чарторыйскому⁸ (Адаму): «Прежде развития военных успехов Вы увидите, насколько дороги мне интересы вашей страны. Что же касается форм правления, то я всегда предпочитал самые либеральные». В Варшавском воззвании к немцам от 22 февраля 1813 г. Александр заявил: «Если из-за малодушия они [государя] будут настаивать на своей пагубной системе подчинения, нужно, чтобы глас народа научил бы их и чтобы князья, которые подвергают позору и несчастью своих подданных, были увлечены последними к мщению и славе». 27 марта 1818 года на открытии сейма в Варшаве он сказал представителям Польши: «Порядки, существовавшие в вашей стране, позволили мне немедленно установить тот, который я вам даровал, осуществляя на практике принцип либеральных учреждений, находящихся под моим постоянным покровительством, благотворное влияние которых я надеюсь распространить на все края, провидением вверенные моим попечениям».

Эти слова были восприняты с жадностью. Поглощенный всецело европейскими делами, переносясь с одного конгресса на другой, полностью находясь под влиянием Меттерниха⁹, олицетворяющего реакционную политику Венского кабинета, он отрекся от своих благородных и великодушных намерений.

Польша получила конституцию¹⁰, а Россия в награду за свой героизм в 1812 году получила военные поселения¹¹. Правда, глава государства в 1812 году спокойно пребывал в С.-Петербурге. Я вспоминаю, что говорил по этому поводу мой брат¹² Блудову¹³, игравшему в то время роль ярого либерала: «Нужно признаться, что император действительно мужественный человек: в 1812 [году] он не потерял надежду на освобождение России, насколько мне известно, это единственный русский, спокойно остававшийся в то время в С.-Петербурге».

Он даровал свободу крестьянам прибалтийских провинций¹⁴, сказав в связи с этим депутатам лифляндского дворянства следующие памятные слова: «Вы почувствовали, что лишь либеральные принципы могут

лечь в основу счастья народов». А когда русские крепостные прибегали к его покровительству от притеснений помещиков, его ответом была военная экспедиция.

Будучи основателем Священного союза¹⁵, он остался глухим, несмотря на сочувствие русских, к мольбе отчаяния восточной церкви и равнодушно взирал на зверства мусульманского фанатизма над нашими единоверцами¹⁶. Пристрастившись к мистицизму и говоря по любому поводу о религии, он совершенно лишил собственности и свободы тех своих подданных, из которых образовал военные поселения.

Ужасные сцены имели место в Чугуеве, где отцы благословляли своих детей, мужественно идущих на пытки, и проклинали тех, кто падал духом при виде их. По восьмидесяти человек погибало одновременно от ужасного наказания шпицрутенами. Целые пехотные дивизии направлялись туда для выполнения обязанностей палача¹⁷.

Забыв все свои обязанности перед Россией, Александр в конце своего царствования передал бразды правления страной Аракчееву¹⁸, находящемуся во власти недостойной любви¹⁹. Этот фаворит, враждебный всякому прогрессу, выбирал подчиненных себе под стать. Строгость цензуры стала абсурдной, ввоз книг из-за границы встречал всевозможные препятствия. Профессора наших университетов были отданы во власть инквизиторов²⁰. Совершались неслыханные несправедливости. По простому доносу подлого шпиона заключали в крепость, ссылали в отдаленный гарнизон и даже в Сибирь. Полковник Бок²¹, долгое время поддерживавший переписку с Александром, был заключен в Шлиссельбургскую крепость (где умер в безумстве) за то, что в одном письме напомнил государю, что он отрекся от своих первоначальных намерений.

Малесон²² и Кир²³, двое детей, якобы за неподчинение старшим в Виленском университете томилась годы в Сибири. Совсем юный граф Платер²⁴, как и многие его товарищи, был отдан в солдаты за школьную шалость в Виленском университете. Его мать, умоляя

императора и пытаюсь разжалобить его, сказала, что ее сыну лишь 14 лет. «Мадам! — ответил император. — Он может быть флейтистом!» Арестованные офицеры старого Семеновского полка — полковник Иван Вадковский²⁵, полковник Дмитрий Ермолаев²⁶, подполковник Николай Кашкаров²⁷ и подполковник князь Лев Щербатов²⁸ с 1821 года по 1826 год секретно содержались в Витебске. Никто из четверых не был виновен в деле, виновными были командующий бригадой великий князь Михаил²⁹ и полковник Шварц, командир полка, который своими жестокостями заставил восстать один из лучших гвардейских полков. Шварц был любимцем великого князя Михаила.

Приговоры, вынесенные военными трибуналами первой армии, которой командовал Сакен³⁰, были крайне суровы. Бессилие законов, которые не были кодифицированы и которые невозможно было знать, коррупция, продажность чиновников — вот печальное зрелище, которое представляла Россия.

Чтобы понравиться государю, нужно было быть иностранцем или носить немецкую фамилию. Наши генералы, такие как Раевский³¹, Ермолов³² и другие, имевшие заслуги перед страной в 1812 [году], находились в пренебрежении или под подозрением.


Последние годы своей жизни Александр находился во власти смутной меланхолии: болезнь, которую бог иногда посылает сильным мира сего, чтобы смиренно согнуть их под бременем скорби, — тем самым преподав величественный урок равенства.

Для поездки в Таганрог он повелел проложить дорогу, которая очень дорого обошлась стране; она позволила ему миновать города.

Так кончилось царствование³³, предназначавшееся, как предполагали, составить счастье России.

ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО

ТАЙНОЕ общество возникло в 1816 году. Первыми, кто пожертвовал собой во имя блага родины, были полковник Муравьев³⁴ (Александр Николаевич)⁶, Пестель³⁵ (Павел Иванович)⁶, капитаны — князь Сергей



Трубецкой³⁶, Никита Муравьев, оба брата Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы³⁷. К ним вскоре присоединились: подполковник Михаил Лунин³⁸, капитан Якушкин³⁹ (Иван Дмитриевич)⁶, генерал Михаил Орлов⁴⁰, генерал князь Лопухин⁴¹, статский советник Николай Тургенев⁴², князь Илья Долгорукий⁴³, капитаны: Бурцов⁴⁴, Муравьев⁴⁵ (Михаил Николаевич), Перовский⁴⁶ (Лев Алексеевич)⁶, братья Шиповы⁴⁷, Бибииков⁴⁸ (Илья Гаврилович)⁶, Пущин⁴⁹ (Иван Иванович)⁶, Семенов⁵⁰ (Степан Михайлович)⁶, полковник Глинка⁵¹ (Федор Николаевич)⁶, Кавелин⁵², полковник Граббе⁵³, Токарев⁵⁴.

Это общество первоначально называлось «Союзом спасения» или «Верных сынов отечества»⁵⁵. Впоследствии, в 1818 году, когда был выработан его устав, оно стало называться «Союзом общественного благоденствия», или «Зеленой книги». Вот его программа:

уничтожение рабства, равенство граждан перед законом, гласность в государственных делах, гласность судопроизводства, уничтожение винной монополии, ликвидация военных поселений, улучшение участи защитников отечества, сокращение 25-летнего срока их военной службы, улучшение участи членов нашего клира, уменьшение численности армии в мирное время.

В 1820 году в Москве был созван съезд⁵⁶ под председательством Николая Тургенева. На нем присутствовали следующие депутаты: Якушкин, два брата Фонвизины⁵⁷, Михаил Муравьев⁵⁸, генерал Орлов, Бурцов, полковники Граббе и Комаров⁵⁹, капитан Охотников⁶⁰, полковник Глинка. После этого собрания Тайное общество было объявлено распущенным, чтобы сделать его более конспиративным и, в особенности, чтобы освободиться от большого числа бесполезных членов, которыми оно изобиловало. На деле же оно продолжало существовать.

Тайное общество было реорганизовано и в целях расширения сферы деятельности было разделено на Северное и Южное. На Севере директором назначили Никиту Муравьева. В 1823 году князя Трубецкой и Оболенский⁶¹ были назначены его помощниками. После отъезда Трубецкого в Киев на его место был избран

Кондратий Рылеев. В этот период Северное общество увеличилось многими членами: братья Бестужевы⁶² (Николай, Александр и Михаил Александровичи), в нашей литературе Александр известен под именем Марлинского; Михаил Нарышкин⁶³, Сутгоф⁶⁴, Панов⁶⁵, князь Александр Одоевский⁶⁶, Вильгельм Кюхельбекер⁶⁷, капитан флота Торсон⁶⁸, многими офицерами штаба и всеми офицерами Гвардейского флотского экипажа, многими офицерами Московского полка, лейб-гренадерами Измайловского корпуса, конногвардейцами, приблизительно пятнадцатью офицерами артиллерии и гвардейскими саперами.

Никита составил проект монархической конституции, которая, подобно конституции Северо-Американских Соединенных Штатов, представляла особе государя ограниченную власть. Он начал составлять «Категорическое свободное человека», который был закончен Сергеем Муравьевым-Апостолом⁶⁹. Александр Бестужев сочинил песни, которые впечатляли.

Кондратий Рылеев⁷⁰ — человек пламенной души, написал поэмы «Войнаровский», «Исповедь Наливайко», где предсказал судьбу свою и своих благородных товарищей.

В поэме говорится о смелом казаке Наливайко, который рассказывает о своих замыслах набожному отшельнику:

«Народ тщетно стонет в оковах, — говорит он ему.
Он испускает лишь немые жалобы...

О, мой отец!

Взор стал

задумчив, печален и дик. Душа тоскует
в рабстве. Днем и ночью лишь одна
мысль, как тень, преследует меня. Она волнует меня
и во время отдыха в родных полях,
и в шумном карнавале, в яростной схватке,
и во время молитв у подножья святых алтарей.

«Настало время!» — шепчет беспрестанно тайный
голос.

«Пора умертвить тиранов Украины...»

Я знаю, бездна зияет перед тем,
кто первым восстает против угнетателя народа.
Жребий пал на меня... Но скажите мне,

в какой стране, в каком веке завоевание свободы не потребовало жертв?»

«Я умру за мою родину! Я это знаю, чувствую и с восторгом,

о, отец мой.

благословляю уготовленную мне судьбу».

Члены тайного Северного общества разделялись на «убежденных» и «соединенных». На собраниях, периодически созываемых, отчитывались об успехах общества, обсуждали предстоящие мероприятия, новые злоупотребления правительства. Нередко Никита Муравьев, с лицом благородным и выразительным, с задумчивой и мягкой улыбкой, говоривший с необычайным обаянием, обсуждая свой проект конституции, разъяснял конституцию Соединенных Штатов Северной Америки.

С ранних лет он проявил самые блестящие способности, любовь к учению, мягкий характер, восторженный патриотизм. Моя добрая и почтенная матушка после смерти нашего отца, которого она обожала, уехала в Москву, чтобы посвятить себя исключительно воспитанию своих детей. Мой брат был на семь лет старше меня. Летом памятного 1812 года мы жили в подмосковной даче. Успехи, одержанные над нами врагом, отступление нашей армии вплоть до сердца империи терзали моего брата. Он ежедневно изводит матушку, добиваясь разрешения ее поступить на военную службу. Он стал грустным, молчаливым, потерял сон. Хотя матушка и была встревожена его состоянием, она не могла ему дать столь желанное разрешение, так как в детстве он отличался слабым здоровьем; матушка и мысли не допускала, что он смог бы вынести трудности тяжелой войны.

Однажды утром, когда мы все собрались за чайным столом, моего брата среди нас не оказалось. Его повсюду ищут. День проходит в томительной тревоге. Мой брат ушел ранним утром, чтобы присоединиться к нашей армии, приближавшейся к стенам Москвы. Он прошел несколько десятков верст, когда его задержали крестьяне. Без паспорта, хорошо одетый, — у него находят карту театра войны и бумагу с указанием расположения сражающихся армий! С ним гру-

бо обращаются, его связывают: возвращенный в Москву, он был брошен в городскую тюрьму. Генерал-губернатор граф Ростопчин⁷¹ вызывает его и допрашивает. Удивленный таким патриотизмом в столь юном возрасте, он отсылает его к матушке, поздравив ее с сыном, воодушевленным столь благородными и возвышенными чувствами.

Я был очень молод, но эта трогательная сцена возвращения, объятия, слезы моей матушки — живы и по сей день в моей памяти.

Благодаря блестящему образованию, полученному моим братом, он был выпущен офицером в Главный штаб. Он с отличием провел кампании 1813, 1814 и 1815 годов. Возвратившись в свою семью, он возобновляет свои занятия, ведет уединенную жизнь. Пишет биографию Суворова⁷², которая была опубликована в известном тогда журнале «Сын Отечества»⁷³. Он намеревался написать критику на «Историю» Карамзина, но, едва приступив к работе, прекратил ее⁷⁴. Политические науки стали единственным предметом его размышлений.

Южное общество продолжает свое дело. Полковник Пестель и генерал-интендант второй армии Юшневский⁷⁵ (Алексей Петрович)⁶ возглавляли Тульчинскую директорию, которая подразделялась на две управы: Васильковскую и Каменскую. Первой управлял Сергей Муравьев-Апостол, взяв себе позднее в помощники Михаила Бестужева-Рюмина⁷⁶, второй — Василий Давыдов⁷⁷, брат знаменитого генерала Раевского⁷⁸, и князь Волконский⁷⁹ (Сергей Григорьевич)⁶.

Полковник Пестель и Сергей Муравьев-Апостол были тем стержнем, вокруг которого вращалось все Южное общество. Они привлекали в общество многочисленных сторонников, действовали энергично. Большинство членов безгранично верило им. Пестель был адъютантом генерал-аншефа, командующего второй армией графа Витгенштейна, находившегося под его влиянием, влиянием человека выдающегося.

Подполковник Сергей Муравьев-Апостол был человеком замечательным по своему уму, своей доброте, своим знаниям и энергичному характеру. Солдаты обожали его. Он умел завоевать любовь всех, кому посчастливилось быть с ним в близких отношениях. Даже

тюремщики говорили о нем с уважением. Прекрасный офицер старого замечательного Семеновского полка, только он один смог удержать свою роту⁸⁰.

Южное общество делилось на «членов» и на «бояр». Полковник Пестель составил проект республиканской конституции под названием «Русская Правда».

Бестужев-Рюмин, молодой человек, полный энтузиазма и одаренный живым умом, преданный друг Сергея Муравьева-Апостола, что также говорит в его пользу, — присоединил к Южному обществу Общество соединенных славян⁸¹. Поручик артиллерии Борисов⁸² взял на себя в Следственном комитете основание этого общества. «Соединенные славяне» были многочисленны.

Существование Тайного общества в течение десяти лет в стране при самовластном и подозрительном правительстве есть нечто исключительное. В последние годы царствования Александра оно начинало оказывать свое влияние на общественное мнение. Идея о том, что самодержавие — это нечто чудовищное, кощунственное, что его осуществление не под силу одному человеку, что лишь бог всемогущ, так как его мудрость, его справедливость, его благодать во всем соответствуют его мощи, — имела широкое распространение. Конституционная форма правления имела своих сторонников.

Заблуждения и ошибки в таком большом деле неизбежны. Они были многочисленны. Приходилось сдерживать то слишком пламенное рвение, то побуждать к действию медлительных, а иногда успокаивать тревогу.

В Тайном обществе было два предателя. Один — англичанин Шервуд⁸³, другой, к сожалению! — русский, Майборода⁸⁴, офицер-казначей полка, которым командовал Пестель. Майборода совершил растрату. Оба они выдали существование общества. Государь оказал им почести, наградил обоих, повелев прибавить к фамилии Шервуда прозвище «Верный». Несмотря на благосклонность покровителя, Шервуд был вынужден покинуть гвардейский драгунский полк, офицеры которого отказались считать его своим товарищем. Впоследствии он исчез, и никто так и не уз-

нал, что с ним стало. Майборода также прозябал, презираемый всеми честными людьми. Именно эти двое передали Александру список членов Тайного общества найденный после его смерти в Таганроге.

Вакантность трона, отречение Константина⁸⁵, принесение двух различных присяг и отчасти плохая репутация великого князя Николая⁸⁶ вызвали день 14 декабря в С.-Петербурге, а на юге восстание батальона под командованием Сергея Муравьева-Апостола⁸⁷.

Грубое обращение в[еликого] к[нязя] Николая вызвало ненависть солдат, которых он, случалось, собственноручно бил. Своей грубостью и злопамятностью он восстановил против себя и офицеров. Его брат Михаил, хотя более ничтожный, был лучше сердцем и более приятен по характеру. Воспитание великих князей⁸⁸, несмотря на все заботы вдовствующей императрицы⁸⁹, было очень запущенным.

На собраниях 12 и 13 декабря 1825 года члены Тайного общества, находившиеся в С.-Петербурге, предвидели неудачу дня 14 [декабря]. Ростовцев⁹⁰, один из членов, руководствуясь личными соображениями, предупредил великого князя Николая о готовящемся в день 14 [декабря]. Мы знали об этом, но в душе члены Тайного общества давно уже принесли свою жизнь в жертву родине. Идя на верную гибель, мы хотели одного: устроить торжественную манифестацию против абсолютизма и сказать нации, что последние десять лет нами руководила лишь одна мысль, одно желание — свобода родины.

14 декабря 1825 года, утром, в день восшествия Николая на престол, три гвардейских полка в сопровождении значительной массы народа отправились на Сенатскую площадь⁹¹. Акт протеста совершен. Его отзвук слышен и ныне. Таков порядок вещей: свобода рождается среди бурь, она утверждается с трудом, одно только время наглядно свидетельствует о ее благодеяниях.

Слишком преувеличивали похвалу Николаю за проявленное им в этот день спокойствие и хладнокровие. А между тем он часто терял самообладание, и чрезвычайная бледность лица выдавала душевное волнение. Он обязан этой репутацией мало организованным действиям восставших и, в особенности, кар-

течи и ружейной стрельбе, которые он, не колеблясь, применил против своих подданных.

Вследствие доноса Ростовцева гвардейские полки были приведены к присяге порознь и в разное время, что лишило движение единства.

15 декабря 1825 года начались аресты. Какими красками описать отвратительный вид, который представляли государь и его дворец в эти часы, посвященные мести?! Можно было видеть офицеров в форме, со связанными за спиной руками, с цепями на ногах, которые представляли перед новым императором.

С угрозами и бранью он допрашивал их, даруя амнистию, которую не выполнял. Толпа царедворцев рукоплескала словам своего повелителя: «Вы мерзавцы, негодяи...» Его окружение хорошо содействовало ему в мести. И лишь немногие из придворных сохранили свое достоинство. Среди них, однако, был один, который осмелился подойти к арестованным и выразить сочувствие, которое несчастье внушает благородному сердцу, — это был флигель-адъютант императора граф Самойлов⁹².

МОЙ АРЕСТ

19 ДЕКАБРЯ 1825 года в субботу вечером я был арестован в доме матери, в возрасте 22 лет, командиром Кавалергардского полка графом Степаном Апраксиным⁹³. С большим трудом я добился позволения навечно проститься с моей доброй матушкой. Когда меня и моих товарищей по полку Анненкова⁹⁴ и Арцыбашева⁹⁵ привели во дворец, император взял нас под руки и, сохраняя некоторое спокойствие, начал допрашивать, а затем, все более повышая голос, перешел к угрозам. Он приказал Левашову⁹⁶ записывать ответы на вопросы, которые он должен был задавать. Через полчаса император вернулся к нам и в присутствии командира гвардейского корпуса Войнова⁹⁷, начальника штаба гвардии Нейдгардта⁹⁸ и графа Апраксина объявил нам прощение, объяснив, что каждый из нас должен

пробыть шесть месяцев в крепости: Анненков в Выборге, Арцыбашев в Нарве, я в Ревеле⁹⁹. Генералы и присутствующие придворные в знак одобрения поцеловали руку императора, приказывая нам сделать то же. Император, видя наше колебание, отступил на несколько шагов и сказал, что не нуждается в нашей благодарности. Придворные выразили нам свое негодование. Моя матушка сохранила записку, написанную рукой императрицы, в которой она положительно подтверждала мое помилование. Увы, бедная матушка! Она была жестоко обманута.

Когда мы вышли из кабинета императора, нас под конвоем отвели в камеры, наспех устроенные в самом дворце. Оттуда нас с фельдъегерем отвезли в места нашего назначения¹⁰⁰.

Я находился в Ревельской крепости до первого мая¹⁰¹. Я обязан выполнить долг сердца перед полковником Шерманом, плац-майором в Ревеле. Этот превосходный человек по-отечески заботился обо мне. Он дал мне книги, карандаши, одним словом, заботился о том, чтобы я ни в чем не нуждался. Его достойная супруга посылала мне фрукты и окружила меня таким вниманием, на которое способны только женщины. Первого мая за мной прибыл фельдъегерь. Через двадцать четыре часа я был в С.-Петербургской крепости. Полковник Шерман проводил меня несколько верст верхом. Мы обнялись, мы расстались друзьями.

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ

С. — ПЕТЕРБУРГСКАЯ крепость, отвратительный памятник самодержавия напротив дворца царя, — это как роковое предостережение того, что они не могут существовать один без другого.

Привычка постоянно видеть перед глазами казематы, где стонут жертвы произвола, должна в конечном счете неминуемо притупить сочувствие к страданиям ближнего. Великий боже! Когда же наступит день, когда поймут, что люди сотворены не для того, чтобы быть игрушкой в руках нескольких привилегированных семейств! Когда солнце гласности засияет у

нас, незаконные, скрытые этими стенами, вызовет со-
дрогание.



Казематов не хватало из-за большого числа жертв. В тюрьму были превращены бывшие гарнизонные казармы. Слой смешанного с клеем мела на оконных стеклах препятствовал проникновению живительных лучей солнца в эти логова. В длинных комнатах этих казарм из бревен были сооружены отдельные клетки таким образом, чтобы лишить возможности какого-либо общения. Узник мог сделать в своей камере лишь три или четыре шага по диагонали. Труба из кованого железа проходила через некоторые из этих клеток, которые не были достаточно высоки, чтобы жара от этих труб не была бы чувствительна; это было настоящей пыткой для заключенного.

Мы прибыли, прошли подъемные мосты крепости, мы останавливаемся у дверей комендантского дома. Фельдъегерь сдал меня плацмайору, который, не говоря ни слова, провел меня в грязную, сырую, темную и узкую камеру. Сломанный стул, скверная койка, железная цепь, один конец которой был замурован в стену, вот вся ее меблировка. Преодолев 360 верст с необычайной поспешностью после четырехмесячного заключения, я был изнеможен усталостью. Как только старый плац-майор удалился, я, не раздеваясь, бросился на ужасную койку, слышал, как задвинули засовы двух дверей, запиравших мою камеру.

Вот я один, изолированный от живых! Я проводил часы лежа, думал о моей матушке, о брате, заключенном, как мне было известно, в ту же крепость, что и я. На глаза навернулись слезы. Я молился богу, и молитва принесла мне облегчение. Чувство радости проникло в мою душу. Я испытывал чувство гордости, что разделял судьбу своего прекрасного брата. Воспрянув духом, я встаю. Хожу по своей камере. Вдруг вновь слышу шум засовов моих дверей. Появляется плац-майор, зовет меня и ведет к коменданту С.-Петербургской крепости генералу Сукину¹⁰², старому инвалиду, с которым я был знаком с детства. Он меня принимает, сидя за своим столом, делая вид, что не узнает меня, спрашивает фамилию. Я отвечаю, что моя фамилия

Муравьев, офицер-кавалергард. На это он имеет утис-
вность ответить мне: «Я весьма огорчен за память ва-
шего почтенного батюшки, который имеет в вашем лице
презренного негодяя». Я вскипел от этого язвитель-
ного замечания, но тотчас меня охватило чувство жа-
лости при виде несчастного старика, до такой степени
отупевшего в пресмыкательстве, что ему были совер-
шенно безразличны страдания человека, не разделяю-
щего его мнений. После свидания я возвратился в свой
каземат, но на этот раз я был счастлив, что остаюсь
один.

Я остаюсь в каземате лишенный света, без движе-
ния, без пищи почти в течение восьми дней. По утрам
тюремщик в сопровождении часового приносил мне
хлеб и воду.

Однажды утром мои двери открылись в необычное
время. Это был генерал Стрекалов¹⁰³, с которым я так-
же был знаком. Он держался вежливо, увидев меня,
вздыхнул и со слезами на глазах спросил о моем здо-
ровье, когда я покинул Ревель, есть ли у меня известия
о моей матери, — и оставил меня. Раз в месяц импе-
ратор посылал одного из своих генерал-адъютантов к
узникам с повелением говорить им о его живом уча-
стии в их судьбе. Под покровом этого сочувствия
скрывалось намерение выведать убеждения узников и
в то же время отвести глаза нашим несчастным роди-
телям.

Пища была отвратительная. Деньги, выделенные
для нашего содержания, расхищались чиновниками во
главе со старым плац-майором. Часть заключенных со-
держалась на хлебе и воде. У многих ноги и руки были
закованы. По докладу Следственного комитета импера-
тор лично предписывал диетический режим, а также
усугублял тяжесть заключения.

Применялись и нравственные пытки. Заключенные
иногда получали отчаянные письма от своих несчаст-
ных родных, которые, введенные в заблуждение, вся-
чески восхваляли великодушие того, кто никогда его не
проявлял. Одному священнику¹⁰⁴ было поручено ока-
зывать нам религиозное утешение и, особенно, доби-
ваться признаний.

Когда он ближе узнал нас, то признался нам, что
был введен в заблуждение на наш счет. Кровавая кон-

повка, которой завершился наш процесс, поразила его и вызвала с его стороны живейшее возмущение. Многие из узников заболели, многие потеряли рассудок, некоторые покушались на свою жизнь. Полковник Булатов¹⁰⁵ уморил себя голодом.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ЭТОТ комитет состоял из военного министра, бездарного старика, занимавшего кресло председателя,¹⁰⁶ великого князя Михаила, брата императора, оказавшегося судьей и стороной в своем собственном деле, известного Дибича,¹⁰⁷ пруссака, пользовавшегося, подобно многим другим иностранцам-авантюристам, благоволением царя, генерала Кутузова,¹⁰⁸ генерал-губернатора С.-Петербурга, князя Голицина,¹⁰⁹ бывшего министра духовных дел, генералов Потапова,¹¹⁰ Левашова и Чернышева.¹¹¹ Адьютант императора полковник Адлерберг¹¹² присутствовал на процессе, чтобы вести записи, которые он ежедневно передавал государю.¹¹³

Этот инквизиционный трибунал собирался в доме коменданта С.-Петербургской крепости. Первоначально заседания происходили поздней ночью, а когда начали торопиться с окончанием процесса, заседания стали проводиться и днем и ночью. Когда эти заседания были ночными, изнуренного голодом и страданиями узника привели к его судьям. Плац-майор приходил за ним в камеру, перед выходом накидывал на лицо покрывало и, взяв за руку, молча вел по коридорам и переходам крепости. Только в ярко освещенном зале, где собирался Комитет, покрывало снимали. Придворные в блестящих мундирах, не давая узнику времени на обдумывание, задавали вопросы, от которых зависели жизнь и смерть, требуя быстрых и категорических ответов о фактах, совершенно неизвестных допрашиваемому. Его молчание считалось новым проступком, который вменяли ему в вину.

Комитет в качестве путеводной нити в лабиринте

столь сложного дела располагал двумя доносами — Шервуда и Майбороды, а также бумагами, захваченными при обысках в домах обвиняемых. Именно таким путем в их руки попал проект конституции моего брата.¹¹⁴ Затруднительнее было обнаружить конституционный проект Пестеля, который предусмотрительно закопал в потаенном месте труд, потребовавший от него стольких лет. Благодаря Майбороде Комитет узнал место его нахождения.¹¹⁵ Лачинов,¹¹⁶ один из членов Южного общества, спрятавший проект Пестеля, был разжалован в солдаты.

Этот «Тайный Комитет» — так он назывался — был буквально инквизиторским трибуналом, без уважения, гуманного внимания, без тени следов справедливости или беспристрастия и совершенно не знающим законов. Когда мысль закончить как можно скорее порученное ему дело стала господствующей, он смешал друг с другом виноватых и невиновных, чтобы покончить с ними и заслужить благосклонность за свою быстроту. У всех этих царедворцев была только одна цель в жизни: снискать благоволение повелителя, не допуская и мысли о возможности существования политических взглядов, отличных от их собственных, — и это были наши судьи! Особенной ненавистью по отношению к нам отличались Чернышев и Левашов, оба они взяли на себя роль типичных следователей. Для них все средства были хороши. Они предъявляли ложные показания, грозились очными ставками, которых затем не давали. Не раз они уверяли узника, что его верный друг во всем им сознался. Обвиняемый, которому не давали покоя, терзаемый беспощадным и бесчеловечным давлением, в оцепенении ставил свою подпись. Друг, которого вводили в зал заседаний, не мог признаться в том, чего не было. Обвиняемые бросались друг другу в объятия к великой радости членов Комитета. Между тем они уже подписали свой смертный приговор.

Полковник Главного штаба Фалькенберг¹¹⁷, нравственно подавленный заключением, был доведен до того, что обвинил себя в умысле, которого никогда не имел; его друг князь Барятинский¹¹⁸ кратко и логично доказал Комитету его невиновность. Комитет не обратил внимания на умственное расстройство Фалькенберга, очень похвалил его за раскаяние и... осудил его.

Один офицер Гвардейского экипажа, едва достигший 19 лет, Дивов,¹¹⁹ которого тюрьма и плохое обращение также довели до психического расстройства, обвинил себя в том, что в заключении он видит только один сон, как закалывает императора кинжалом.

Комитет бесстыдно сделал из этого пункт обвинения против него. Это был сон Марсиаса, наказанного Дионисием Сиракузским за оскорбление величества. Я привожу лишь из ряда вон выходящие факты. Случалось, что господа из этого Комитета говорили с наивной игривостью: «Скорей же признавайтесь. Вы заставляете нас ждать, наш обед стынет». Комитет ставил своей основной целью представить всех нас цареубийцами, несмотря на то, что за десять лет существования Тайного общества никто не погиб по его вине. Этим против нас возбуждалась толпа, которая слышит, но не рассуждает.

Полковник Лунин, отличавшийся умом и энергичным характером, удачные высказывания которого цитировались, на вопрос о цареубийстве ответил: «Господа! Тайное общество никогда не имело целью цареубийство, ибо его цель была более возвышенна и более благородна. Но, впрочем, как вам известно, мысль о цареубийстве не является новостью в России, — примеры весьма свежи». Двое из членов Комитета, Татищев и Кутузов, были замешаны в кровавой смерти Павла. Ответ попал в цель и Комитет оказался в замешательстве.

Комитет упорно настаивал, чтобы Никита Муравьев признался в том, что Северное общество желало республику. Выведенный из терпения такой настойчивостью, Никита Муравьев ответил: «Мой проект Конституции, находящийся в ваших руках, — монархический, но если вам угодно знать, занятия укрепили меня в правильности моих политических идей, и сегодня я громко заявляю: сердцем и убеждением я республиканец».¹²⁰ Комитет понял, что довел свое бесстыдство до крайности.

Когда заключенный возвращался в каземат, его тотчас посещал священник. Мало скомпрометированные члены находили удовольствие в мистификации Ко-

митета. В их числе капитан Горский,¹²¹ который, отвечая на вопрос о причинах, побудивших его вступить в Тайное общество, ответил: «Единственно подражая народу». Происходили, наконец, и комические сцены. Майор Раевский,¹²² человек блестящего ума, говоря о немцах, заставил Дибича подскочить в своем кресле; тот, разгневавшись, с самым комичным выражением лица, начал яростно нападать на Раевского, который в ответ разразился громким смехом. Князь Шаховский¹²³ ни в чем не признался и тем не менее был приговорен к ссылке. Когда полковника Граббе, заслуженного офицера, известного благородством своего характера, стал допрашивать Чернышев, он дал отвод этому судье, объяснив, что во время кампании 1814 года он тщетно призывал Чернышева присоединиться к отряду под его командованием во время дела с неприятелем и что Чернышев, не пожелавший разделить с ним опасности сражения, был оскорблен им, Граббе, грубыми словами.

Граф Захар Чернышев¹²⁴ был осужден только за то, что носил ту же фамилию, что и его судья. Дед графа Захара основал огромный майорат, на который генерал Чернышев, член Комитета, без каких-либо родственных отношений к основавшему майорат фельдмаршалу, имел бесстыдство претендовать на владение имуществом семьи, совершенно ему чужой.

Много лиц, сильно скомпрометированных, из числа членов Тайного общества, не были даже допрошены: генерал Шипов,¹²⁵ близкий друг Павла Пестеля, Александр Шипов,¹²⁶ князь Лопухин, князь Илья Долгорукий, который был директором Северного общества,¹²⁷ граф Витгенштейн, флигель-адъютант императора¹²⁸. Генерал Михаил Орлов, один из первых основателей Тайного общества, был арестован, заключен в С.-Петербургскую крепость и освобожден.

Следственный комитет, назначенный 17 декабря 1825 года, немедленно открыл свои заседания, окончив их 30 мая 1826 года. Все дело он передал Верховному суду,¹²⁹ который со всей возможной поспешностью рассмотрел его, так как он судил и вынес приговор, не видя и не выслушав нас.

Пятеро из наших благородных товарищей: Сергей Муравьев-Апостол, Павел Пестель, Кондратий Рылеев,

Михаил Бестужев-Рюмин и Каховский,¹³⁰ приговоренные к четвертованию, были повешены.

Сто двадцать один обвиняемый, распределенные на двенадцать категорий, были приговорены к каторжным работам на различные сроки или пожизненно и к ссылке.

Приговор был приведен в исполнение менее чем через двадцать четыре часа после того, как он нам был оглашен.

ПРИГОВОР

УТРОМ 12 июля 1826 года дворцовые экипажи, эскортируемые эскадроном кавалергардов, доставили в дом коменданта крепости Верховный суд. Распределив по категориям, нас собрали в разных комнатах, затем ввели в длинную комнату, где наши судьи, которых мы увидели в первый раз, сидели вокруг стола в виде подковы. Это было собрание самых причудливых лиц, какие только можно себе представить: архиепископы, старые военные, старые сенаторы. Государственный секретарь звучным голосом прочел обвинительный приговор. После чего, в окружении солдат, нас возвратили в казематы.

Ночь удобна для злодеяния, в два часа ночи 13 июля 1826 года приговор был приведен в исполнение.¹³¹ Несмотря на тайну, которой пытались окружить казнь, на площади собралось много народа.

Нам посчастливилось вторично увидеться в течение 24 часов. Великий боже! Какое чувство испытали мы, вновь встретившись с братом, другом, товарищем! Мы обнимались. Я бросился в объятия брата, а он, увидев меня, воскликнул: «И тебя также, мой дорогой Александр, они приговорили к гибели вместе с нами».

Нас ввели в каре, образованное войсками на площади, окружающей крепость. Она была заполнена гвардейскими полками: на одном из бастионов была видна возвышающаяся виселица с пятью затяжными петлями. Сняли форму с тех из нас, кто ее носил, бро-

сили ее в огонь, над нашими головами переломили шпиги. Нас одели в больничные халаты и отвели обратно в тюрьму. В то время, как мы покидали площадь, казнили наших пятерых мучеников. Они искупили преступление, наиболее ненавистное для толпы: быть распространителями новых идей. Казнь была жестокой. Двое из этих благородных жертв — Сергей Муравьев-Апостол и Кондратий Рылеев, когда доска была выбита, упали с большой высоты и сломали себе конечности¹³². Их вновь повесили совершенно изуродованными. Члены Следственного комитета — эти новые иуды получили титулы и награды; это была цена крови.

Тела наших пяти мучеников были тайно погребены на одном из островов Невы.¹³³ Во время совершения казни фельдъегеря мчались в Царское Село; император Николай ждал окончания рокового акта, чтобы лечь в постель и уснуть.

Одной из самых возмутительных подробностей в этой мрачной драме было присутствие на площади, где происходила казнь, генерал-адъютанта, близкого друга Павла Пестеля.¹³⁴

Но зато бедный поручик, солдатский сын, георгиевский кавалер, отказался выполнить приказ, обязывавший его сопровождать на казнь пятерых приговоренных к смерти. «Я честно служил, — сказал этот человек с благородным сердцем, — и на склоне лет не хочу быть палачом людей, которых уважаю». Граф Зубов,¹³⁵ кавалергардский полковник, отказался стать во главе своего эскадрона, чтобы присутствовать при казни. «Это мои товарищи, и я не пойду», — был его ответ.

Нас всячески старались унижить, но тщетно. Политические приговоры никогда не будут позорными; они только придают новую силу идеям, во имя которых умирают.

После приговора я был помещен в Алексеевский равелин,¹³⁶ называемый в память несчастного сына Петра I. Это треугольное здание, окруженное со всех сторон водой. В середине треугольника, образованного коридорами казематов, находится маленький сад, где видна могила княжны Таракановой, дочери императрицы Елизаветы и Разумовского.¹³⁷ Она утонула в своем каземате во время большого наводнения в 1777 году, став жертвой Екатерины II. Спустя несколько дней

некоторых из наших товарищей увели, меня вновь вернули в импровизированный каземат.

Блудов, которого сделали графом, был редактором отчета¹³⁸ о нашем деле. Это литературное произведение, в котором факты искажены, преследовало лишь одну цель: представить нас глупцами и злодеями. Как ни старался Блудов отредактировать памфлет, ему это не удалось. Несколько изданий были тотчас же раскуплены; так сильна была жажда ознакомиться со столь новым для нас фактом. Правительство было вынуждено запретить публикацию «Донесения Следственного комитета». Несколькими месяцами раньше тот же Блудов играл роль крайнего либерала, декламируя в городских салонах зажигательные стихи Пушкина. Он был назначен секретарем Следственного комитета. Помню, что за несколько дней до 14 [декабря] у моей матери были историограф Карамзин, граф Платер и этот самый Блудов. Говорили о событиях дня. «Очень странно, — сказал Блудов, — вот уже месяц у нас нет государя, и, однако, все идет так же хорошо, или, по крайней мере, так же плохо, как и раньше». После этого он засмеялся по привычке, как делал всегда, когда шутил.

В процессе следствия государь услышал много истин, которые, вероятно, остались бы ему неизвестны, много подробностей о России.

Страна обязана Тайному обществу опубликованием «Свода» наших законов,¹³⁹ солдаты — сокращением срока службы, длившейся 25 лет. Истязание шпицрутенами, практиковавшееся без всякой меры, в настоящее время ограничено.¹⁴⁰ Поэтому нас утешает мысль о том, что, несмотря на нашу гибель, мы выполнили свою задачу в этом мире скорби и испытаний. Мученики полезны для новых идей. Всякая преследуемая истина — есть сила, которая накапливается, это день грядущего торжества.

С И Б И Р Ь

11 ДЕКАБРЯ 1826 года, в одиннадцать часов вечера, когда двери казематов и ворота крепости были уже закрыты, плац-майор и плац-адъютанты собрали

в одной из комнат комендантского дома четверых политических осужденных: Никиту Муравьева, его брата Александра, Анненкова и Торсона. Мы с восторгом обрелись в объятия друг другу. После годичного заключения в казематах мы стали неузнаваемыми. Через несколько минут появился старый комендант, объявивший нам злым голосом, что по приказу императора на нас оденут цепи для отправки в Сибирь.¹⁴¹

Закон, опубликованный в первой книге,¹⁴² гласит: «Каждый благородный гарантирован от телесных наказаний, как будучи под судом, так и даже после своего осуждения. Дворян, осужденных на ссылку, запрещено отправлять в оковах, так как оковы относятся к телесным наказаниям». Насколько это видно, строго соблюдаются у нас законы, и в особенности тем, кто первый обязан их соблюдать. Не проходит и дня, чтобы поляков не отправляли в Сибирь. В 1849 г. молодые люди за одно только намерение протестовать против абсолютизма были отправлены в оковах из С.-Петербурга в Нерчинск, за 7000 верст.¹⁴³

Плац-майор с насмешливым видом принес холщовый мешок с цепями. Мой брат был глубоко взволнован, увидев, как их надевали на меня. С необычным для нас шумом мы спустились по лестницам комендантского дома в сопровождении фельдъегеря и жандармов. Каждый из нас сел с жандармом в отдельную почтовую кибитку. Мы быстро пересекли город, в котором каждый из нас оставил опечаленную семью. Милостивый бог дал нам силу перенести это скорбное испытание со спокойствием и достоинством. Мы не чувствовали ни холода, ни тряски ужасной повозки. Цепи мы несли с гордостью. Я был молод, счастлив, разделяя судьбу моего благородного брата. В моем положении была поэзия. Я смог это понять.

В полуверсте от первого почтового перегона фельдъегерь остановил наши повозки и сам помчался во весь опор на почтовую станцию, откуда скоро возвратился со свежими лошадьми. Фельдъегерь действовал в соответствии с данными ему распоряжениями. Подозревали, что наша бедная матушка¹⁴⁴ будет поджидать нас на станции, чтобы в последний раз попрощаться с нами. И действительно, наша матушка, моя невестка Алек-

сандрина¹⁴⁵ и ее сестра графиня Софи Чернышева¹⁴⁶ ожидали нас в станционном доме.

Моя матушка унизилась до мольбы, чтобы ей позво- зволили обнять нас в последний раз; она предложила довольно крупную сумму, однако ничего не помогло; фельдъегерь сказал, что за ним следят, как он исполняет полученные приказы. Лошадей запрягли, мы помчались галопом; вот так мы и проехали перед моей матушкой, женой моего брата и графиней Софи. Долго еще слышались их прощальные крики. Позднее мы узнали от жандармов, что моя матушка, догадываясь о нашей отправке, приехала в крепость задолго до нашего отъезда. Комендант ей поклялся, что мы уже отправлены, но, подозревая коменданта во лжи, она поехала на первую станцию.

Из боязни привлечь внимание населения политических осужденных отправляли в Сибирь в разные сроки и по разным маршрутам. Наш пролегал через Ярославль, Кострому, Вятку,¹⁴⁷ Екатеринбург,¹⁴⁸ Омск, Красноярск, Иркутск. Никому не позволяли приближаться к нам. В оковах мы преодолели 6050 верст за 24 дня. Величайшая скорость была предписана без учета плачевного состояния нашего здоровья. У нас не было ни гроша.

О причине наших страданий догадывались. Несмотря на наши оковы, нам всюду оказывали самый сердечный прием. Когда фельдъегерь находил это возможным, нас бесплатно кормили, не принимая казенной платы от представителя власти. В Тихвине, недалеко от С.-Петербурга, несмотря на принятые фельдъегерем меры воздействия, народ, обнажив голову, желал нам счастливого пути. То же самое происходило в Ярославле. В Костроме, пока меняли лошадей, один молодой человек, оттолкнув нашу стражу, ворвался в комнату, где мы находились, и сказал нам: «Господа, мужайтесь! Вы страдаете за самое прекрасное, самое благородное дело! Даже в Сибири вы встретите сочувствие!» Эти слова нам были приятны.

Оторванные от своих родителей, от своих друзей, потеряв все то, что услаждает жизнь, в оковах, страдая от холода, от стремительной езды, конечным пунк-

том которой была каторга, мы не теряли мужества. Наше поведение внушало уважение даже фельдъегерю.

Мы сделали около 600 верст в почтовых поездах, а затем, когда установилась зимняя дорога, пересели в сани. Когда мы достигли Омска, уже стояли суровые морозы: 40 градусов ниже нуля по Реомюру. Особенно страдал от холода наш товарищ Анненков — у него не было шубы. В Омске ему купили ее.

Из всех неприятностей, перенесенных нами в пути, наиболее тягостным было то, что нам пришлось быть немymi свидетелями варварских поступков, совершаемых фельдъегерем. Он избивал ямщиков, похваляясь тем, что вырывал у них бороды. В особенности, когда ему приходилось оплачивать почтовые прогоны, мы были свидетелями грустного зрелища его варварства. Верный привычкам наших чиновников, он стремился присвоить деньги, выданные ему на почтовые прогоны. Прогоны на двенадцать лошадей от С.-Петербурга до Иркутска составляли довольно круглую сумму. Бедные лошади гибли от усталости. В продолжении всего пути мы только два раза отдыхали по несколько часов. Первый раз — по причине довольно серьезного недомогания Анненкова, во второй раз — когда мой брат, по приезде на одну из станций, упал в обморок. Часто сани переворачивались, и мы с цепями на ногах катились в снег. Это действительно счастье, что мы не были ни ранены, ни изувечены при такой езде.

Необходим определенный навык, чтобы носить оковы, не рая себя. Спустя некоторое время мы носили их с изяществом.

Мы приехали в Иркутск, изнуренные от усталости и больные.

В пути мы часто встречали партии ссыльных. Осужденные на каторжные работы шли, окруженные солдатами, в оковах, оборванные, нуждающиеся, с изнуренным лицом и с одичавшим видом. Часто за осужденным следовала мать с несчастными малышами. Тяжело было это видеть. Основной источник большинства совершаемых преступлений — кабаки, которые для правительства служат источником дохода. Закон бессиле защитить раба; каприза господина или происков управляющего именем, заинтересованного, когда барин пребывает в Москве или Петербурге, избавиться от сви-

детеля, уличающего его хищения, достаточно, чтобы выслать несчастных рабов из родных мест и разлучить с теми, кто их любит. Эти два случая нередки в летописях ссылки. Рабовладельцы иногда выбирают любовниц среди своих крепостных; дети, рождающиеся от таких связей, согласно закону, объявляются рабами. Раевский,¹⁴⁹ рассуждая перед Комитетом о язвах рабства, рассказал, как его знакомый помещик, большой любитель охоты с борзыми, заставлял женщин в своей деревне кормить грудью щенят. Негра или негритянку, приехавших в Россию, закон объявляет свободными. Мужчина или женщина, купленные в Азии, по приезде в Россию по закону становятся свободными. Только наши несчастные соотечественники забыты законом.

Специальное административное учреждение (Приказ о ссыльных) в Тобольске распределяет ссыльных в новый для них край, жителями которого они становятся. Но кабак препятствует благосостоянию колонистов. Большею частью деморализованные длительными заключениями в тюрьмах России, долгой дорогой до места назначения, совершенно обездоленные, первое, что по прибытии на место ссылки они посещают — это кабак, где они встречают подобных себе несчастных, которые, конечно, не могут их направить на правильный путь. Иногда, однако, бывает, что эти люди, прибывшие в Сибирь лишенными всего, благодаря разумному поведению и настойчивости создают свои хозяйства, а некоторые из них даже богатеют. Число ссылаемых обеих категорий ежегодно составляет от 11.000 до 12.000 человек обою пола.

На всей обширной территории Сибири проживает не более тысячи душ (странное название!) крепостных. Нам повезло жить в крае, где рабство неизвестно.

ИРКУТСК

В ПЕРВЫХ числах января 1827 года¹⁵⁰ мы прибыли в иркутскую тюрьму. После того как нас провели через несколько длинных дворов, мы очутились в мрачной, обширной и грязной комнате, вся мебель ко-

торой состояла из стола и походной кровати. Двери заперли на засовы, у дверей поставили часовых. Мы провели ночь, дрожа от холода. Нас посетил гражданский губернатор Цейдлер,¹⁵¹ первый известивший нас о наших родных, от которых он уже успел получить письма. Под строжайшим секретом он сказал нам, что мы отправимся в Читу, маленький городок на противоположной стороне Байкала, в 800 верстах от Иркутска, по дороге в Нерчинск, что генерал Лепарский¹⁵² назначен комендантом нашей конечной тюрьмы и что скоро мы все будем вместе.

Во время нашего пребывания в иркутской тюрьме нас каждый день посещал главный тюремщик, но от этого нам не было легче, мы буквально страдали от голода.

Все события заключения запечатлелись в памяти. Я никогда не забуду того дня, когда один из наших часовых глубоко вздохнул, что побудило нас заговорить с ним. Это был ветеран «старого» Семеновского полка, осужденный за участие в восстании этого великолепного полка на пожизненную службу. Со слезами на глазах он рассказал нам о нашем двоюродном брате Сергее Муравьеве-Апостоле, его ротном командире, а также о многих других офицерах его полка — членах Тайного общества.

КОММЕНТАРИИ

1. А. М. Муравьев был женат с 1839 г. на Жозефине Адамовне Бракман. В Сибири у супругов родилось шесть детей: первенец Никита (умер малолетним), Михаил (1842—1887), Екатерина (1843—?), Елена (1844—1921), Александра (1845—?) и Лидия (1847—1850).

2. Павел I (1754—1801) — русский император (1796—1801).

3. Александр I (1777—1825) — русский император (1801—1825).

4. Лагарп Фридрих Цезарь (1754—1838) — швейцарский государственный деятель, генерал, публицист, воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей. За республиканские идеи был изгнан из России Павлом I.

5. Муравьев Михаил Никитич (1757—1807) — извест-

ный общественный деятель, писатель, издатель, публицист, отец Никиты и Александра Муравьевых.



6. В рукописи Тбилисского государственного университета (в дальнейшем сокращенно — ТГУ) имя и отчество вписаны в текст по-русски.

7. Анна Луиза Жермен де Сталь (1766—1817) — известная французская писательница. Во время пребывания в России была принята Александром I.

8. Чарторыйский (Чарторижский) Адам Ежи (Адам Юрий) (1770—1861) — политический деятель России и Польши, министр иностранных дел Российской империи в 1804—1806 гг.

9. Меттерних-Виннебург Клеменс Венцель Лотар (1773—1859) — австрийский государственный деятель и дипломат, реакционер.

10. 27 ноября 1815 г. Александр I подписал конституцию Королевства Польского, которое объявлялось наследственной монархией, «навсегда» соединенной с Российской империей.

11. Образованием военных поселений царизм стремился сократить расходы на содержание армии, создать дополнительную опору в борьбе против революционного движения. Первые военные поселения были созданы в 1810 г. Их устройство приняло широкий размах с 1816 г.

12. Никита Михайлович Муравьев (1796—1843) — выдающийся представитель декабристского движения.

13. Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — один из учредителей литературного общества «Арзамас», делопроизводитель Верховной следственной комиссии, автор тенденциозного официального отчета о ее работе.

14. Имеется в виду крестьянская реформа 1816—1819 гг. в Эстляндии, Курляндии и Лифляндии.

15. Священный союз, заключенный 26 сентября 1815 г. в Париже между Россией, Пруссией, Австрией и впоследствии Францией, ставил целью борьбу против национально-освободительного и революционного движения в Европе.

16. Имеется в виду восстание греков против турецкого господства, начавшееся 6 апреля 1821 г. Восстание было жестоко подавлено. Александр I отказал грекам в помощи.

17. Имеется в виду восстание в Чугуевском уланском полку, подавленное с крайней жестокостью.

18. Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — ^{глав-}ный начальник военных поселений, пользовавшийся неограни-
ченным доверием Александра I, крайний реакционер. ⁹⁶¹⁹³⁵⁹²⁰
²⁰²²⁰¹⁰¹⁰³³

19. Имеется в виду многолетняя связь Аракчеева с Настасьей Минкиной, которая за свою жестокость была убита крепостным.

20. Имеется в виду преследование передовых ученых Казанского, Петербургского и др. университетов К. И. Арсеньева, А. П. Куницына, А. И. Галича и др. мракобесами М. Л. Магницким, Д. П. Руничем и им подобными.

21. Бок фон Тимофей Эбергард Георгиевич (Егорович) (1787—1836) — полковник, участник Отечественной войны. Резко критиковал Александра I и его ближайших чиновников. Был арестован в 1818 году. В заключении лишился рассудка. В мемуарах допущена неточность: Т. Э. Бок был освобожден из Петропавловской крепости в 1827 году.

22. Малесон, правильно — Молесон, гимназист, 19-ти лет, сосланный в Сибирь на каторгу за распространение политических прокламаций.

23. Кир... — ошибочно, правильно — Тир, гимназист, за распространение политических прокламаций сосланный на каторгу в Сибирь.

24. 15-летний граф Платер был отдан в солдаты за то, что 3 мая 1823 г. написал на классной доске: «Да здравствует Конституция 3 мая (1794 г.), какое приятное воспоминание для нас, соотечественников, но некому о ней напомнить». Описанные события имели место не в Виленском университете, а в различных средних учебных заведениях Виленского учебного округа.

25. Вадковский Иван Федорович, командир батальона, капитан. Первоначально был приговорен к смертной казни.

26. Ермолаев Дмитрий Петрович первоначально был приговорен к смертной казни.

27. Николай Кашкаров, капитан Семеновского полка.

28. Щербатов Иван Дмитриевич (?—1829), штабс-капитан.

29. Великий князь Михаил Павлович Романов (1798—1848).

30. Генерал-фельдмаршал, главнокомандующий 1-й армией Фабиан Вильгельмович фон-дер Остен-Сакен (1752—1837).

31. Имеется в виду Раевский Николай Николаевич (1771—

1829) — генерал от кавалерии, герой Отечественной войны 1812 г.

32. Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) — известный полководец, герой Отечественной войны 1812 г., видный администратор, дипломат.

33. Имеется в виду смерть царя Александра I, последовавшая 19 ноября 1825 г. в Таганроге.

34. Муравьев Александр Николаевич (1792—1863) — один из основателей Союза спасения.

35. Пестель Павел Иванович (1793—1826) — выдающийся представитель декабристского движения, автор знаменитой «Русской Правды». Повешен 13 июля 1826 г.

36. Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — один из основателей Союза спасения и Союза благоденствия. 13 декабря 1825 г. был избран диктатором восстания. В день восстания не явился на Сенатскую площадь. Приговорен к каторжным работам.

37. Муравьевы-Апостолы: Сергей Иванович (1796—1826) — выдающийся представитель декабристского движения. Возглавил восстание Черниговского полка. Повешен 13 июля 1826 г.; Матвей Иванович (1793—1886) — один из основателей Союза спасения, участник восстания Черниговского полка. Приговорен к каторжным работам.

38. Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845) — выдающийся представитель декабристского движения. Приговорен к каторжным работам.

39. Якушкин Иван Дмитриевич (1796—1857) — выдающийся представитель декабристского движения, один из организаторов Союза спасения, член Северного общества. Приговорен к каторжным работам.

40. Орлов Михаил Федорович (1788—1842) — выдающийся представитель декабристского движения. Благодаря заступничеству брата, оказавшего большие услуги Николаю I 14 декабря 1825 г., был освобожден от ответственности перед судом.

41. Лопухин Павел Петрович (1788—1873) — один из основателей Союза благоденствия, генерал-майор. Был прощен царем. Участвовал в подавлении восстания в Польше в 1831 г.

42. Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — член Союза благоденствия и Северного общества. Заочно был при-

говорен к вечным каторжным работам. Один из основоположников либеральной концепции о декабристах.

43. Долгоруков (Долгорукий) Илья Андреевич (1797—1848) — член Союза благоденствия, полковник. С 1820 г. отошел от декабристского движения.

44. Бурцов Иван Григорьевич (1794—1829) — член Союза благоденствия, командир Украинского пехотного полка. Был приговорен к крепостным работам. После отбытия наказания вновь принят на службу. Смертельно ранен в Байбуртском сражении, похоронен в г. Гори.

45. Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — член Союза спасения и Союза благоденствия, участвовал в подготовке устава этих союзов. По делу декабристов находился под арестом, суду предан не был. Печально прославился жестоким подавлением восстания 1863—1864 гг. в Польше, Литве, Белоруссии. Вошел в историю под именем Муравьева-Вешателя.

46. Перовский Лев Алексеевич (1792—1856) — член Союза благоденствия, участник Отечественной войны. Был прощен Николаем I.

47. Иван Павлович (1793—1845) и Сергей Павлович (1789—1876) Шиповы — члены Союза благоденствия.

48. Бибииков Илья Гаврилович (1794—1867) — член Союза благоденствия.

49. Пуцин Иван Иванович (1798—1859) — член Союза благоденствия, один из основателей Северного общества. Приговорен к каторжным работам.

50. Семенов Степан Михайлович (1789—1852) — член Союза благоденствия, Северного общества. Находился в заключении в Петропавловской крепости. Был освобожден от ответственности перед судом.

51. Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — член Союза спасения и Союза благоденствия, полковник. Прозаик и поэт. Был выслан в Петрозаводск.

52. Кавелин Александр Александрович (1793—1850) — член Союза благоденствия. К суду по делу декабристов не привлекался.

53. Граббе Павел Христофорович (1789—1875) — член Союза благоденствия, полковник Северского конно-егерского полка. Находился под следствием по делу декабристов.

54. Токарев Александр Андреевич (?—1821) — член Союза благоденствия.

55. Союз спасения после принятия устава стал называться Обществом истинных и верных сынов отечества.

56. Московский съезд состоялся в январе 1821 г.
57. Иван Александрович (1790—1853) и Михаил Александрович (1788—1854) Фонвизины.
58. Михаил Николаевич Муравьев в работе указанного съезда не участвовал.
59. Комаров Николай — член Союза благоденствия. Находился под следствием по делу декабристов, был прощен Николаем I.
60. Охотников Константин Алексеевич — член Союза благоденствия.
61. Оболенский Евгений Петрович (1795—1865) — член Союза благоденствия и Северного общества. Приговорен к каторжным работам.
62. Николай Александрович (1791—1855) — член Северного общества, выдающийся художник, талантливый изобретатель; приговорен к каторжным работам: Александр Александрович (1797—1837) — член Северного общества, активный участник восстания 14 декабря 1825 г., писатель; приговорен к каторжным работам; Михаил Александрович (1800—1871) — член Северного общества, активный участник восстания; приговорен к каторжным работам.
63. Нарышкин Михаил Михайлович (1798—1863) — член Союза благоденствия и Северного общества.
64. Сутгоф Александр Николаевич (1801—1872) — член Северного общества, активный участник восстания 14 декабря 1825 г. Приговорен к каторжным работам.
65. Панов Николай Алексеевич (1803—1850) — член Северного общества, активный участник восстания 14 декабря 1825 г. Приговорен к каторжным работам.
66. Одоевский Александр Иванович (1802—1839) — член Северного общества, выдающийся поэт-декабрист. Приговорен к каторжным работам.
67. Кюхельбекер Вильгельм-Людвиг Карлович (1797—1846) — член Северного общества, активный участник восстания 14 декабря 1825 г., поэт, критик. Приговорен к каторжным работам.
68. Торсон Константин Петрович (1790—1851) — член Северного общества, участник морского кругосветного путешествия под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена. Приговорен к каторжным работам.
69. «Катехизис свободного человека» или «Любопытный

разговор» был написан Н. М. Муравьевым. С. И. Муравьев-Апостол в соавторстве с М. П. Бестужевым-Рюминым составил в декабре 1825 г. «Православный катехизис».

70. Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — выдающийся представитель декабристского движения, член и один из директоров Северного общества. Один из организаторов восстания 14 декабря 1825 г., выдающийся поэт-декабрист. Повешен 13 июля 1826 г.

71. Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826) — государственный деятель, крепостник. С мая 1812 г. военный губернатор и главнокомандующий в Москве.

72. Н. М. Муравьеву принадлежит не описание жизни А. В. Суворова, а критический обзор русской и иностранной литературы, посвященной биографии великого полководца.

73. «Сын Отечества» — исторический, политический и литературный журнал, издававшийся с 1812 г. В 1829 г. слился с журналом «Северный архив».

74. Н. М. Муравьеву принадлежат критические замечания на «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина (1766—1826), которые ходили в списках.

75. Юшневский Алексей Петрович (1786—1844) — член Союза благоденствия и Южного общества, генерал-интендант 2-й армии. Приговорен к каторжным работам.

76. Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1803—1826) — выдающийся представитель декабристского движения, член Южного общества, один из руководителей восстания Черниговского полка. Повешен 13 июля 1826 г.

77. Давыдов Василий Львович (1792—1855) — член Южного общества, председатель Каменской управы, поэт. Приговорен к каторжным работам.

78. Генерал Раевский Николай Николаевич (1771—1829), брат декабриста В. Л. Давыдова по матери.

79. Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865) — член Союза благоденствия и Южного общества, генерал-майор. Приговорен к каторжным работам.

80. С. И. Муравьев-Апостол, командовавший 3-й фузилерной ротой полка, пытался удержать солдат от участия в выступлении 17 октября 1820 г., однако его действия успеха не имели.

81. Общество соединенных славян — тайная политическая революционная организация, присоединившаяся в 1825 году к Южному обществу.

82. Борисов Андрей Иванович (1798—1854) — выдаю-

щийся деятель дворянского революционного периода. Приговорен к каторжным работам.

83. Шервуд Иван Васильевич (1798—1867) — член Южного общества, провокатор.

84. Майборода Аркадий Иванович (?—1844) — член Южного общества, провокатор. Покончил жизнь самоубийством. В тайном обществе декабристов были и другие провокаторы и доносчики.

85. Константин Павлович (1779—1831) — второй сын Павла I, царевич, великий князь.

86. Николай Павлович (1796—1855), русский император (1825—1855).

87. Восстание Черниговского полка под руководством С. И. Муравьева-Апостола, которое было подавлено 3 января 1826 г.

88. «В учении, — признавался позднее Николай I, — видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и я думаю не без причины, обвиняли в лености и рассеянности».

89. Имеется в виду Мария Федоровна (1759—1828), вдова Павла I.

90. Ростовцев Яков Иванович (1803—1860), член Северного общества, предупредивший Николая I о грядущем выступлении.

91. В восстании 14 декабря 1825 г. приняли участие лейб-гвардии Московский полк (671 чел.), гвардейский Морской экипаж (около 1.100 чел.), лейб-гвардии Гренадерский полк (около 1.250 чел.). Восставшие насчитывали около 3.000 штыков. По свидетельству современников, многочисленная масса народа выражала свои симпатии восставшим.

92. Самойлов Николай Александрович (1814—1842) — флигель-адъютант, капитан лейб-гвардейского Преображенского полка.

93. Апраксин Степан Федорович (1796—1862).

94. Анненков Иван Александрович (1802—1878) — член Северного общества, кавалергард. Приговорен к каторжным работам.

95. Арцыбашев Дмитрий Александрович (?—1831) — член Северного общества, кавалергард. Был освобожден от ответственности перед судом.

96. Левашов Василий Васильевич (1783—1843), генерал-адъютант, член Следственной комиссии.

97. Войнов Александр Львович (1770—1832).

98. Нейдгардт Александр Иванович (1784—1845).

99. Ныне г. Таллин.

100. А. М. Муравьев был отправлен в Ревельскую крепость 25 декабря 1825 г.

101. По данным официальных документов, А. М. Муравьев был вывезен из Ревельской крепости 28 апреля 1826 г. По тем же данным, 30 апреля 1826 г. он был заключен в Петропавловскую крепость, в особый арестантский каземат под № 28.

102. Сукин Александр Яковлевич (1765—1837) — генерал от инфантерии, впоследствии член Верховного уголовного суда.

103. Стрекалов Степан Степанович (1782—1856) — генерал-адъютант, командир лейб-гвардии Измайловского полка.

104. Мысловский Петр Николаевич (1778—1846) — священник Казанского собора.

105. Булатов Александр Михайлович (?—1826) — член Северного общества, командир 12-го Егерского полка. По данным декабриста В. С. Толстого, А. М. Булатов «раскроил себе череп у затылка» ударом головы об угол дверного косяка.

106. Татищев Александр Иванович (1762—1833) — военный министр, председатель Следственной комиссии, генерал от инфантерии.

107. Дибич Иван Иванович (1785—1831) — генерал-адъютант, начальник Главного штаба.

108. Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772—1843), военный генерал-губернатор С.-Петербурга.

109. Голицын Александр Николаевич (1773—1844) — в 1817—1824 гг. занимал пост министра духовных дел и народного просвещения. В описываемое время сохранял за собою должность главноначальствующего над почтовым департаментом.

110. Потапов Алексей Николаевич (1780—1846) — командир конно-егерского полка.

111. Чернышев Александр Иванович (1785—1857).

112. Адлерберг Владимир Федорович (1790—1884).

113. В списке членов Следственной комиссии А. М. Муравьев не называет А. Х. Бенкендорфа.

114. При аресте С. П. Трубецкого в его бумагах был обнаружен первый вариант «Конституции» Н. М. Муравьева.

115. Майборода действительно знал о существовании «Русской Правды», однако не располагал точными сведениями о



месте хранения этого документа. Об этом следствию стало известно из показаний других декабристов.

116. Лачинов Евгений Емельянович (1799—1875) — член Южного общества, поручик квартирмейстерской части.

117. У А. М. Муравьева неточность: речь идет о Фаленберге Петре Ивановиче (1791—1873) — члене Южного общества, подполковнике квартирмейстерской части. Приговорен к каторжным работам. Версия о самообвинении П. И. Фаленберга не подтверждается конкретно — историческими фактами.

118. Барятинский Александр Петрович (1798—1844) — член Южного общества, адъютант главнокомандующего 2-й армией, поэт.

119. Дивов Василий Абрамович (1803—1842) — участник восстания 14 декабря 1825 г. Приговорен к каторжным работам. В период следствия В. А. Дивову было 23 года.

120. На следствии Н. М. Муравьев заявил: «Если бы и тогда (т. е. после восстания войск и административно-политических и др. преобразований в стране — О. Ж.) императорская фамилия не приняла конституции, то как крайнее средство я предполагал изгнание оной и предложение республиканского правления».

121. Очевидно, имеется в виду Граббе-Горский Осип-Юлиан Викентьевич (1766—1849) — участник восстания 14 декабря 1825 г., отставной статский советник. О.-Ю. В. Граббе-Горский, полковник, не был членом декабристских обществ. По личному распоряжению царя Николая I был сослан под надзор полиции в Березов.

122. Раевский Владимир Федосеевич (1795—1872) — выдающийся представитель декабристского движения, член Союза благоденствия и Южного общества, майор 32-го Егерского полка.

123. Князь Шаховский... — имеется в виду Шаховский Федор Петрович (1796—1829) — один из организаторов Союза спасения и Союза благоденствия. Один из четырех декабристов, не признавших себя виновными. Был приговорен к пожизненной ссылке.

124. Чернышев Захар Григорьевич (1796—1862) — член Северного и Южного обществ (по показанию декабриста П. Н. Свистунова).

125. Из двух братьев Шиповых ко времени следствия звание генерала носил только Сергей Павлович.

126. Здесь неточность, имеется в виду Шипов Иван Павлович, которого связывала давняя дружба с П. И. Пестелем.

127. Илья Андреевич Долгорукий являлся блюстителем Союза благоденствия.

128. Витгенштейн Лев Петрович (1799—1866) — ротмистр Кавалергардского полка. Был арестован по делу декабристов. Освобожден от ответственности перед судом.

129. Верховный уголовный суд был учрежден 1 июня 1826 г.

130. Каховский Петр Григорьевич (1797—1826) — член Северного общества, активный участник восстания 14 декабря 1825 г. Повешен 13 июля 1826 г.

131. К «разжалованию» и процедуре казни декабристов приступили в 3 часа. Декабристов казнили к 6 часам утра.

132. С виселицы сорвались К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский и С. И. Муравьев-Апостол.

133. Тела казненных декабристов тайно были зарыты на о. Голодай (ныне о. Декабристов). В 1926 г. на острове в честь казненных декабристов был поставлен скромный памятник.

134. По смыслу А. М. Муравьев имеет в виду С. П. Шипова, который 15 декабря 1825 г. был произведен в генерал-адъютанты. Вопрос о том, кто из братьев Шиповых участвовал в казни декабристов, до конца не выяснен.

135. Зубов Александр Николаевич (1797—1875) — внук А. В. Суворова, действительно отказался присутствовать на казни декабристов.

136. Назван в честь русского царя Алексея Михайловича (1629—1676), а не сына Петра I — Алексея Петровича (1690—1718).

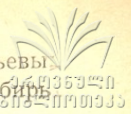
137. А. М. Муравьев повторяет распространенную легенду о гибели княжны Таракановой во время петербургского наводнения 1777 г. Дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа А. Г. Разумовского — Августина Тимофеевна Тараканова в 1785 г. по приказу императрицы Екатерины II была насильно пострижена в монахини и скончалась в 1810 г.

138. Автор имеет в виду «Донесение Следственной комиссии», составленное Д. Н. Блудовым.

139. Имеется в виду 15-томное издание «Свода законов Российской империи», увидевшее свет в 1832 г.

140. А. М. Муравьев, как и другие декабристы, ошибочно утверждает, что при Николае I был сокращен срок военной службы и «ограничено» наказание шпицрутенами.

141. Описанное событие произошло, нужно полагать, не



- 11, а 10 декабря 1826 г., когда Н. М. и А. М. Муравьевы, К. П. Торсон и И. А. Анненков были отправлены в Сибирь.
142. Имеется в виду «Свод законов» (Кн. 1).
143. Автор имеет в виду петрашевцев, сосланных в декабре 1849 г. на каторгу в Сибирь.
144. Екатерина Федоровна Муравьева (урожд. Колокольцева).
145. Муравьева Александра Григорьевна (урожд. Чернышева) (1804—1832) — супруга Н. М. Муравьева, последовавшая за своим мужем в Сибирь.
146. Софья Григорьевна Чернышева (по мужу Кругликова) — свояченица Н. М. Муравьева.
147. Вятка — ныне г. Киров.
148. Екатеринбург — ныне г. Свердловск.
149. Очевидно В. Ф. Раевский.
150. И. А. Анненков, К. П. Торсон, Никита и Александр Михайловичи Муравьевы прибыли в Иркутск 13 января 1826 г.
151. Цейдлер Иван Богданович (1780—1853) — генерал-губернатор Иркутска с 1821 по 1835 гг.
152. Лепарский Станислав Романович (1754—1837) — генерал-лейтенант, комендант Нерчинских рудников, впоследствии комендант Читинского и Петровского острогов.



Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ

«СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВЕЩИЙ ЗНАК...»

БЫЛО бы вполне естественным, если б нынешнюю подборку нашей рубрики «Свидетельствует вещий знак...», публикуемую в 1983 году, мы посвятили 200-летию Георгиевского трактата, т. е., говоря о сфере духовно-культурной, — русско-грузинскому литературному содружеству, опорной и отправной вехой которому и послужил этот великий исторический акт. Собственно говоря, так мы и поступаем сейчас, но с пожеланием читателю учесть одно немаловажное обстоятельство. Ведь за все годы своего существования журнал «Литературная Грузия» (тем более с тех пор как определенная часть его материалов стала объединяться под вышеупомянутой рубрикой) одной из важнейших своих задач как раз считал и считает всемерно способствовать духовному, культурному, литературному сплочению наших народов, привлекая к работе журнала и сотрудничеству с ним братские творческие силы.

В свое время, предваряя первую из наших такого рода подборок, мы писали как раз о том, что для грузинской прессы стало давней традицией гостеприимно встречать на своих журнальных или газетных страницах творения русских писателей — прославленных и безвестных, именитых и начинающих. Кстати, среди безвестных и начинающих, подчеркивали мы с законной гордостью, едва ли не первым был Алексей Максимович Пешков, именно на страницах тифлисской газеты ставший впервые Максимом Горьким. Произошло же это за год до рождения в грузинском селе Багдади Владимира Маяковского... Эти яркие знаки в небе нашего Зодиака освещают десятилетия стремительной поступи разведчиков русско-грузинского поэтического братства и творческого содружества в самых разных сферах искусства. Воистину об этом и «свидетельствует вещий знак» согласно приняшему и нас под свою благословенную сень есенинскому прорицанию.

Оглядываясь назад, мы можем сказать, что нами в этом направлении сделано немало. Вот, скажем, одно из косвенных, казалось бы, подтверждений этому. Как-то во вступительной статье к «Вещему знаку» 1980 года нам довелось сказать следующее: «...Одним из последних литературно-общественных свершений Константина Михайловича Симонова было издание — у нас же в «Мерани» — составленного им сборника «Если пелось про это» — замечательного свода посвященных Грузии произведений русских советских поэтов... Когда настанет пора переиздать упомянутую симоновскую антологию... и когда она, естественно, будет расширена и дополнена новым поэтическим материалом, то в нашей подборке найдутся еще для нее прекрасные русские стихи, посвященные Грузии». Это тогдашнее предположение ныне сбылось и стало реальностью: именно к 200-летию Георгиевского трактата выходит новое, дополненное и расширенное, издание симоновской антологии «Если пелось про это». И обогатилась антология главным образом за счет стихотворений, опубликованных в «Литературной Грузии», преимущественно в подборках «Вещего знака», за годы, прошедшие после выхода первого ее издания, но «По завету друга» — как подчеркивается уже в заглавии дополнительного предисловия к новому изданию.

Это не значит, разумеется, что тематика наших подборок ограничена собственно грузинской темой. Можно себе представить, к каким плачевным и безотрадным результатам привела бы такая односторонняя и заранее predetermined ориентация! Более того, даже в тех случаях, когда журналу предлагают стихи, непосредственно посвященные Грузии, мы останавливаем свой выбор на тех, где чувствуется свобода и сокровенность, истинное переживание и постижение, а не поэтическое верхоглядство и формальное сочинительство на заданную «тему». А такие случаи тоже, к сожалению, встречаются. И здесь не существует никаких рецептов и заранее выработанных мерок. Все решают личность поэта и, в конечном итоге, сами стихи. И мы снова и снова подчеркиваем не раз уже сказанное нами: для того чтобы оказаться своими, родными и близкими грузинскому читателю, точнее, читателю «Литературной Грузии», русским поэтам не обязательно обращаться к нашему слуху каждый раз с грузинской тематикой. Мы вместе с читателем доверяемся органическому единству поэтического потока, всему комплексу чувств и мыслей, бушевающих поэтов — как родных и близких уже нам, так и далеких, на первый взгляд незнакомых или малознакомых до сей поры.

На этот раз стихи, представленные под сенью «Вещего знака», открываются произведением поэта более чем «родного» нам и «близкого» — Булата Окуджава. И недаром из стихов его наплывает на нас образ Галактиона Табидзе и исподволь приоткрывается смысл его бессмертия:

**...его глаза подернуты слезою...
Поэты плачут — нация жива.**

Стихи эти прекрасны. Они пророчески-заповедны и исповедальны одновременно. Их написал поэт, который имеет право оберегать имя и честь Галактиона не только потому, что сестра его отца была спутницей жизни и поверенной души Галактиона, а потому, что сам он поэт из тех, кто «вхож в красу чужбин, в чужие дни» и для кого «былое» остается родным «домом». Недаром несколько лет назад со страниц «Вещего знака» Белла Ахмадулина в своем дружески задорном послании к Булату приглашала его вместе с нею перенестись «домой, в былое», поглядеть там чуть ли не на самого Пушкина и вновь вернуться обратно! Вспомним:

**...А все ж войдем. Там, у колонны...
так смугл и бледен... Сей любви
не перенести! То—он. Да он ли!
Не надо знать, и не гляди.
Зачем дано! Зачем мы вхожи
в красу чужбин, в чужие дни!
Булат, везде одно и то же.
Булат, садись! Ямщик, гони!
Как снег летит! Как снегу много!
Как мною ты любим, мой брат!
Какая долгая дорога
из Петербурга в Ленинград.**

Но мы вспомнили эти стихи Беллы Ахмадулиной и для того, чтобы перекинуть от них мост к ее «тарусским стихам», публикация которых была начата в предыдущем «Вещем знаке» 1981 года («Литературная Грузия» № 8), продолжение же обещано читателю в ближайшем будущем. За минувшее время, однако, «тарусский цикл» поэта рос и обогащался, частично представ на страницах «Литературной газеты» в мае 1982 года, в «Дне поэзии», в третьих номерах журнала «Октябрь» за 1982 и 83 годы, но все-таки дождавшись своего часа и на своей стартовой площадке «Вещего знака». Здесь тоже к стихам 1981 года добави-

лись стихи 82-го, органически с ними связанные. Конечно, отрыв от времени публикации первых стихов цикла в нашем журнале, а потом и рассредоточенность стихов по разным органам печати, дает себя знать в восприятии его как явления целостного, единой внутренней цепью связанного — при всей явной новизне и новом лирическом «рывке» в стихах 1982 года. Но не забудем хотя бы о том, о чем мы писали во вступлении к первым стихам цикла, а именно — каким чудотворным ферментом, зримо или незримо, таится и воистину деет чудо в тарусском потоке дух боготворимого поэтом великого пращура — Пушкина. Как это происходит? А хотя бы так — вспомним строки из «Во след 27 дню февралю»:

**День хочет быть — день скоро будет — есть
солнце-морозный, все точь-в-точь: чудесный.**

Или оттуда же, к концу стихотворения:

**А я! Каким я день мой назову!
Мне сказано уже, что он — чудесен.**

Или в «Играх в шалости»:

**Что мы добавим к солнцу и морозу!
Не то, не то! Не бляск, не лед над ним.
Я жду! Отдай обещанную розу!
И роза дня летит к ногам моим.
Во всем ловлю таинственные знаки,
то след примечу, то заслышу речь.
А вот и лошадь запрягают в санки.
Коль ты велел — как можно не запречь!
Верней — коня. Он масти дня и снега.
Не все ль равно! Ты знаешь сам, когда:
в чудесный день! — для усиления бега
ту, что впрягли, ты превратил в коня...**

Есть ли на свете такой читатель стиха, которому нужно объяснять, что все это чародейство настроено по камертону пушкинского «Зимнего утра»:

Мороз и солнце; день чудесный!

И дальше, к концу:

**Но знаешь: не вельет ли в санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снегу,**

**Друг мялый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, мялый для меня.**



«Тарусские стихи», начатые публиковаться в «Литературной Грузии» в августе 1981 года, были написаны в феврале и марте того же года, а новый их поток создавался уже и зимою следующего года. Но за много лет до этого, как бы в предвосхищении будущих стихов, в поэтической прозе своего «Вечного присутствия» Белла Ахмадулина благоговейно коснулась этой же сокровенной струны: «...Душа обращается к Пушкину, страстно следит за ним, берет его себе... Какое наслаждение — присвоить, никого не обделив, заполучить в общение эту личность, самую пленительную в человечестве, ободряюще здоровую, безызычную, как зимний день. Кстати, описание этого зимнего дня, который чудесен, с его морозом, солнцем и прелестным безмянным другом, — для всех нас достаточное основание не изведать края горестей... Все мы чего-то ждем, чего-то добиваемся от Пушкина — что ж, он никому не отказывает в ответе... Но не следует фамильярничать с его именем. Он знает, чем мы ему обязаны, и разом поставит нас на место с ликующей бесцеремонностью, позволенной только ему — ему-то не у кого спрашивать позволения: «Читатель ждет уж рифмы розы»... Так и будем стоять с дурацким видом, поймав на лету его галантную и небрежную розу — в подарок или в насмешку...»

Годы и годы спустя, когда «вечное присутствие» для Беллы Ахмадулиной обернулось на этот раз «играми в шалости» — тоже только ему дозволенными и доступными, — мы знаем, что произошло:

**Мне кажется, со мной играет кто-то.
Мне кажется, я догадалась — кто,
когда опять усмешливо и тонко
мороз и солнце глянули в окно.
Что мы добавим к солнцу и морозу!
Не то, не то! Не блеск, не лед над ним.
Я жду! Отдай обещанную розу!
И роза дня летит к ногам моим.**

Да, именно Вечное присутствие—имя тому музыкальному ключу или поэтическому коду, имея в виду который только и сле-

дует читать и перечитывать тарусские стихи Беллы Ахмадулиной. И это уже независимо от того, мелькнет ли непосредственно зримо в тех или иных стихах тень того, кто прошел путь от чудесного мгновения к чудесной вечности.

Сама же Белла Ахмадулина на наших глазах прошла не только «долгую дорогу из Петербурга в Ленинград», но и путь — на этот раз — от «лета» до «зимы», от «города над Курой» — к Оке, у которой Таруса. Ведь еще недавно обращалась она с наших же страниц к одному из наследников Пушкина, заверяя его клятвенно:

**Клянусь тебе своей склоненной головой
и воздухом, что весь — душа Галактиона,
что город над Курой — все милосердней твоей,
ты в нем не меньше есть, чем был во время оно.**

Теперь же, вернувшись к естественно родной Оке, ей, прежде чем слиться с нею душою, пришлось как бы пройти через пошлосу «препирательств и примирений», чтобы хоть как-то унять ее ревность к Куре. А в их «диалоге» были и такие реплики:

Поэт:

**— Я лишь третьего дня над Курой
без твоих тосковала излучин.**

Ока:

**— Кто теплыню отчизны второй
обольщен — пусть уходит, он скучен.**

«Примирение», конечно же, состоялось, и «тепльня вторая отчизны» не могла, да и не желала по природе своей стать предатрицей к тарусским «грядущим стихотвореньям» поэта, так же как никакая «ревность» или «милость пространства» родного никогда ранее не вспугивала ее «снов о Грузии». И, конечно же, как и теперь, не только о географическом пространстве, а о просторах любви шла речь в те блаженные времена, когда ею писалось —

**Меж тем все просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета
полгода жизни, лета два часа.
И приникаю я лицом к Симону
все тем же летом, тою же зимою,**

когда цветам и снегу нет числа.

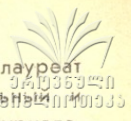
Простилась, ничего не говоря,
Я предалась заботам января,
вдохнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру,
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.



Новые стихи Беллы Ахмадулиной замыкаются у нас ее же переводом из Карло Каладзе, поэта, которого она любит, обогрив лучами своей любви и обласканных в этом стихотворении самим поэтом общих их друзей — Нодара Думбадзе и Джансуга Чарквиани.

В целом же подборка «Вещего знака» довольно многообразна. За малым исключением (о чем будет сказано особо), здесь представлены поэты или давно сроднившиеся с Грузией, с грузинской поэзией (Елена Николаевская, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Владимир Леонович, Ян Гольцман, Леонид Темин, Марина Кудимова), или просто известные русские поэты, недавно ставшие желанными гостями «Вещего знака» (Александр Кушнер, Роберт Вионен). Все они в рекомендации не нуждаются. В прошлой подборке дебютировали у нас Андрей Плахов, Наталья Соколовская, Владимир Еременко, Светлана Кекова, Николай Кононов, Юрий Юрченко. Еще раньше были напечатаны стихи Павла Нерлера и Олеси Николаевой. А вот и собственно тбилисцы — Глан Онанян, Владимир Тереладзе, Паола Урушадзе, Мадлена Розенблюм, Владимир Чередниченко, Тамара Янишевская. Их (кроме дебютантов В. Чередниченко и Т. Янишевской) уже знает наш читатель, а Глан Онанян — вообще поэт и переводчик довольно известный.

Впервые на страницах «Вещего знака» выступают москвичка Лариса Фоменко и Николай Еремин из Красноярска. Судьба их стихов или сопутствующие им обстоятельства весьма примечательны. Дело в том, что стихотворения Ларисы Фоменко «Мое имя» и «Как меня лечили от бессонницы» были в прошлом году опубликованы в переводе Вахтанга Харчилава на страницах газеты «Литературули Сакартвело» с кратким дружеским напутствием Джансуга Чарквиани: «Прочитав ее стихи, я сказал себе — вот еще один влюбленный в Грузию русский поэт. Лучезарно отражены в ее стихах исконная взаимность, любовь и верность друг другу наших предков...» Как видим, перевод опередил публикацию оригинала.



Николай Еремин — известный красноярский поэт, лауреат премии комсомола Красноярского края. Он внимательный и вдумчивый читатель грузинской литературы и нашего журнала. На него большое впечатление произвели в свое время стихи и проза Александра Цыбулевского, а в предыдущем «Вещем знаке» — его очерк «Не хватило бормотанья». Более подробно Николай Еремин представлен в краткой редакционной вводке к нашей перепечатке его статьи и новому поэтическому циклу «Лист виноградной лозы».

Могла ли возникнуть такая литературная, я бы сказал, духовная перекличка между Грузией и Красноярским краем в иные времена, в иной социально-нравственной атмосфере? Вот об этом — даже малом — проявлении исторического по смыслу процесса и его итогов и «свидетельствует вещий знак».

К этому же ряду относятся стихи наших саратовских дебютантов 1981 года — Светланы Кековой и Николая Кононова. Неравнодушный к истинной поэзии читатель вряд ли забыл их строки, посвященные Галактиону Табидзе, Тициану Табидзе и Паоло Яшвили, уже тогда поразившие нас не только интуитивно-поэтическим постижением, но и подлинным знанием грузинской культуры поэтами, которые в Грузии не бывали, если не считать прочитанных ими книг, знакомых им явлений грузинского искусства и, наверное, встреч кое с кем из наших соотечественников. А стихи свои они прислали тогда лично мне без какой-либо мысли об их напечатании, просто в благодарность за мою скромную роль в издании русского сборника Галактиона Табидзе и «Снов о Грузии» Беллы Ахмадулиной. И появление этих стихов в «Вещем знаке» было не только полнейшей неожиданностью, но и вообще первой публикацией для молодых поэтов. И я был рад, когда мое мнение об этих поэтах поддержал известный критик Лев Аннинский (не очень-то щедрый на похвалу). Будем надеяться, что и этих поэтов ждет судьба в разное время у нас же стартовавших Марины Кудимовой и Андрея Плахова, которых мы ныне можем поздравить с их недавно вышедшими первыми книгами. Что касается нашей нынешней подборки, то и в этот раз стихи четырех вышеназванных поэтов являются ее украшением.

Николай Крэнков и здесь продолжает свой «грузинский мотив», как и прежде ничего общего не имеющий с описательно-пластическими приметам полонившего его издали края. Это скорее метафорически выраженные черты грузинского духа, ре-

альных, но ставших символическими явлений и фигур грузинской истории, культуры, природы. «Запах первых строк «Давитиани» здесь соседствует с «посохом прямых речей Важа», «низкий низкий над лбом поющего» — с Пиросмани, сжимающим «стакан земной крови», т. е. вина, Метехский храм как бы устремлен взором к созвездию Водолея, а описание храма Баграта ночью — это собственно не описание, даже не видение, а образная трансформация, подчиненная законам метафорической фантазмагии. А главное — всюду, в любой картине и поэтическом построении зафиксировано присутствие автора, поэта, признающего тот или иной лирический монолог — начиная с первой строки цикла — «Я по-грузински говорить хотел» — и кончая последними строчками заключительного стихотворения: «Пора мне, пора, туда, где над морем синееет гора». На такое, я бы сказал, «мифотворчество» правомочна только поэзия, тем более — поэзия такого ранга. Добавим «под занавес», что уже после создания всех этих стихов Николаю Кононову удалось осуществить свою давнишнюю мечту — совсем недавно он побывал в Тбилиси.

Светлана Кекова не возвращается на этот раз к грузинской теме, если не считать, что общечеловеческие раздумья являются всеобщим, в том числе и грузинским, достоянием. Эпиграфом или своеобразным ключом к нашей подборке ее стихов я бы взял ее же строки:

**Очертания жизни размыты,
но повсюду во славу ее
в неустойчивых формулах быта
утверждает себя бытие.**

Вот это на наших глазах происходящее преобразование примет и черт быта, жанра, пейзажа, даже натюрморта — через волшебную призму метафоры — в бытие, в черты и приметы жизни духовной, жизни творческого Духа, с не менее прекрасными периодами равновесия или временного, часто остродраматического перевеса того или иного начала — в этом источник мощной притягательной силы незаурядного поэтического дарования Светланы Кековой. Четко и последовательно передан этот своего рода «символ веры» в ее обращении «Поэту»:

**Вот слово, монолитней, чем утес,
омытый кровью, влагой, кислородом,
стоит и ждет, что ты — каменотес —
накопишь силы наравне с народом**

и сможешь ранить каменную плоть,
проникнуть в жилы, в каменную мякоть,
и звуки благодарные колоть,
и, зубы сжав, — работать, а не плакать.



Этот же лейтмотив пронизывает и следующее стихотворение этого цикла:

Нас ведет гениальный крылатый народ
по ухабам и рытвинам горных пород,
а в долине, внизу, за забралом оград,
слов янтарных и алых созрел виноград.
Что ни слово — то крик, что ни слово — то стон,
и прекрасная явь превращается в сон.
Но орлица на крыльях своих унесла
речь мою и секрет твоего ремесла.
Мы за нею летим среди гор, среди туч,
и тяжелые камни срываются с круч.
Водопадов гексаметры, ямбы долин
мы опасным небесным огнем опалим.

Точно так же год назад обращалась она к Галактиону Табидзе:

Тяжел, как горе, колокольный звон,
работа бога пахнет алебастром...
Иду на голос твой, Галактион,
по нотам строк, как по увядшим астрам.

Такова явь, способная обернуться сновидением, и таковы поэтические видения Светланы Кековой, готовые утвердиться явью уже в нашем благодарном читательском сознании.

Прошлый раз мы дали высокую оценку стихам москвича Владимира Еременко, уже и целой серией отличных переводов закрепившего свою связь с Грузией. Предлагаемая ныне читателю подборка его стихов радует нас, кроме собственно поэтического уровня, самим охватом сфер и явлений — от проникновенного посвящения Анне Каландадзе и живописного описания женских фигур на боржомском рынке, с гудиашвилевскими ассоциациями, до глубоких и ярких стихов об Андрее Рублеве с раздумьями мастера о времени, об искусстве, о судьбе личности и народа.

Остается в силе и то, что мы говорили прошлый раз об Андрее Плахове и неоднократно — о Марине Кудиловой. Памя-

туя лишь о своеобразии манеры и языка последней, предварим ее подборку ее же строчками:

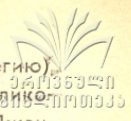


**Кто скажет, что это бессвязно,
По тем я веки скорблю.**

И пусть эти строки напомнят нам ее же стихи из первой публикации — дебютной — в «Вещем знаке» 1977 года, вошедшие теперь и в ее московскую книжку:

**Чем слог темней, тем дух светлей —
Греха со смыслом братец сводный.**

Итак — Красноярск (Н. Еремин), Саратов (С. Кекова и Н. Кононов), Тамбов (М. Кудимова), конечно же — Москва (А. Плахов, В. Еременко). Недостает Хабаровска и Ленинграда? А вот Юрий Юрченко и Наталья Соколовская. Но они почти «свои»: Юрченко — актер по профессии, — влюбившись в Тбилисский театр пантомимы, из хабаровского театра перебрался в Тбилиси, работал сначала в театре пантомимы, затем в театре им. Грибоедова, окончил наш театральный институт, напечатался в «Вещем знаке» и, вернувшись в Хабаровск, поступил оттуда со своими «грузинскими» стихами в московский Литературный институт! Вот ведь как бывает! В нашей подборке одно его стихотворение — «Нана» — еще из прежних, тбилисских, остальные — новые, в этом году написанные в Хабаровске, но судя по вступительному коротенькому стихотворению, как бы адресованные тбилисским друзьям. И еще один голос из Хабаровска — на этот раз знакомый. Это Лидия Магистрова. Стихи ее сопровождаются письмом: «За тридцать земель и через годы протягиваю руку землякам с большим волнением — помнят ли меня еще в родном Тбилиси. Судьба пронесла меня через всю страну. Теперь на Дальнем Востоке мой дом. Но сердцем всякий раз я возвращаюсь на родину, в благословенный край моей юности... Самая большая моя мечта — побывать в Грузии. Тяжелая болезнь... помешала осуществить ее раньше... Когда-то я дебютировала в вашем журнале... Наберется более десяти книг стихов грузинских поэтов на русском языке, куда вошли и мои переводы. В Тбилиси увидела свет моя первая книжка.. Посылаю вам стихи... Пусть они будут моим сердечным приветом родной грузинской земле...» Мы печатаем несколько стихотворений Лидии Магистровой... А ленинградка Наталья Соколовская, окончив переводческое отделение Литинститута, командирована на долгий



срок в любимый ею Тбилиси (в Главную редакционную коллегию) стала одной из лучших переводчиц грузинской поэзии (великолепны ее переводы из Реваза Маргиани, Отара Чиладзе, Джансуга Чарквиани). Все больше и больше набирает она силу и как самобытный поэт, а ее творческий вечер, состоявшийся в конце марта в Музее дружбы, произвел на аудиторию огромное впечатление. Она — личность, поэт и мастер. Этим многое сказано. А с невысокого помоста в тот день среди других звучали и такие ее строки:

**Пишу, не уповая на ответ,
о том, как предвечернею порою
мои глаза притягивают свет
во всех домах, нависших над Курюю.**

Но даже живя временно в Тбилиси и упорно, сосредоточенно работая, постигая город, страну и ее культуру, ее людей, Наталья Соколовская вовсе не торопится воплощать все это в стихи. Такова природа ее таланта. И она себя не торопит — строгая, целомудренная и сдержанная. Всему свой час. И это прекрасно.

Стихи Гелия Аронова — это лирические раздумья о жизни, о человеческой душе, о совести и нравственности. Особое место в его стихах занимают строки о Великой Отечественной войне, так и названные — из цикла «41-й год». Судя по ряду посвящений, автор связан дружескими узами с грузинскими товарищами.

Стихотворение Сергея Гандлевского «Ливень в Батуми» радует зоркостью поэтического глаза и подлинностью настроения, в стихе выраженного.

Наталья Гончарова по образованию биолог, родилась в Грузии, в Кварели, детство и отрочество провела там же, вуз кончала в Перми, где и работает лаборантом на кафедре ботаники своего же Пермского государственного университета. Не писать стихов не может — по собственному признанию. Стихи ее не традиционны, но в них есть подкупающая чистота и искренность самовыражения, вылитая в форме верлибра. Она еще очень молода и несомненно, что поощрение ее способностей поможет ей в большей степени самоопределиться.

Стихам Ашота Сагратяна предпослана заметка Анаиды Беставашвили.

Завершая разговор о поэзии, мы скажем лишь о разделе стихотворных публикаций из литературного наследия Веры Киреевой и Александра Орлова.

С началом публикации стихотворного наследия известной переводчицы грузинской прозы Веры Киреевой наш читатель познакомился в № 6 «Литературной Грузии» за прошлый 1982 год. Публикация эта сопровождалась живой и содержательной заметкой Елены Николаевской, к которой мы и отсылаем читателя, желающего освежить в памяти некоторые реалии, связанные с жизнью и творчеством Веры Киреевой.

О личности и стихах Александра Орлова читатель получит необходимые сведения во вступительной заметке Чабуа Амиреджиби.

В свое время я писал о Н. А. Заболоцком: «...С 1947 года возобновились и грузинские дружеские связи Николая Алексеевича Заболоцкого, возникшие еще в середине тридцатых годов. Однако я не был ни участником, ни свидетелем первой послевоенной поездки Н. А. Заболоцкого в Грузию — об этом прекрасно написал Симон Чиковани, об этом помнят и рассказывают Александр Межиров и грузинские друзья Николая Алексеевича... Месяцы сорок седьмого года, проведенные в Тбилиси и Сагурамо, в Доме творчества писателей, помогли Николаю Алексеевичу оправиться после первого, вслед за возвращением в Москву, года с неустроенным бытом и неналаженными деловыми и литературными связями, столь необходимыми для нормального творческого самочувствия». К сожалению, Симон Чиковани ничего не писал о собственно сагурамовском периоде, а Александр Межиров и другие вовсе не брались пока за воспоминания. К счастью, был у Николая Алексеевича друг, проведенный с ним почти всю пору пребывания в Сагурамо и воссоздавший ее ныне в прекрасном мемуарном очерке. Это видный советский драматург и сценарист, автор книги воспоминаний о Михаиле Булгакове — Сергей Александрович Ермолинский. Как известно, в мае этого года отмечалось 80-летие Николая Заболоцкого. Публикуя воспоминания Сергея Ермолинского о днях, проведенных Заболоцким в Сагурамо, мы отдаем дань памяти выдающемуся русскому советскому поэту и «верному другу грузинской поэзии» (по выражению Симона Чиковани).

Эссе Владимира Огнева содержит раздумья о любимом им Тбилиси, его художниках и писателях, его прошлом и настоящем, о связи времен и поколений.

И наконец — своеобразный благодарственный монолог, произнесенный (правда, на этот раз на бумаге!) выдающимся современным актером и режиссером Сергеем Юрским в адрес создателей и участников телефильма о Пиросмани — по сце-

нарию Вадима Коростылева, в постановке Гиги Лордкипанидзе и с Отаром Мегвинетухуцеси в главной роли. О них и ведет свой восхищенный и, вместе с тем, профессионально-бескомпромиссный рассказ Сергей Юрский. Он так и называется — «Несколько слов благодарности».

Таков круг авторов, публикуемых в нынешней нашей подборке под рубрикой «Свидетельствует вещей знак...»



Булат ОКУДЖАВА

●

Сестра моя, прекрасная Натела,
прошли года, а ты помолодела:
так чист и ясен пламень глаз твоих!
Возьми родную речь, горбушку хлеба
и эти облака, и это небо
и раздели на нас, на шестерых.

Вот заповедь ушедшего поэта,
чья песня до конца еще не спета...
Сестра моя, все — только впереди.
Пусть завистникам пока нейдется,
Галактион когда-нибудь вернется —
он просто задержался по пути.

Средь океана слов и фраз напрасных,
не столь прекрасных, сколько безопасных,
как острова, лежат его слова.
Спешит перо как будто пред грозой,
его глаза подернуты слезою...
Поэты плачут — нация жива.

КАРАДАГ

Что судьбою положено —
Не отдать за миллион!..
Справа — профиль Волошина,
Слева — Хамелеон.
Окруженные лавами,
Воспаренью учась,
С заповедными травами
Мы на равных сейчас...
Наподобие вереска —
Под защитою мы..
И в гармонию верится
В смене света и тьмы.
Погружаемся в облако
С головы и до пят...
Камни странного облика
Челюстями хрустят.
Допотопные чудища
Шевельнутся вот-вот,
И сдается — чуть-чуть еще —
И хребет поплывет...
И в ином измерении,
На планете иной,
Знаю, будет мгновение —
Горы встанут стеной,
И возникнет, как заново,
Над провалом — скала,
Сверху — синее зарево,
Снизу — клекот орла...

АВГУСТ

Август уже за плечами,
Как опустевший рюкзак.
Словно с мечтами — с лучами
Не распростимся никак.

Белка последнюю вишню
Тащит в гнездо хлопоча.
Птичьего зова не слышно,
Звона не слышно ручья.

Тишь воцарилась как чудо,
Замерло все до поры...
Не начинались покуда
Осени щедрой пиры.

Высь еще не отблестала,
Ветвь не повисла, как плеть.
Время еще не настало
Листьям с деревьев лететь.

Синью глубокой и гладкой
Славится яблочный спас...
Август уходит с оглядкой —
Жаль ему, видимо, нас.

С грустью уходит великой,
Ясность свою нам даря,
Сладкой дыма голубикой,
Горькой рябиной горя...

Желтыми машет шарами,
В дальний направившись путь.
За голубыми горами
Думает он отдохнуть.

Похолодало ночами,
Дымка на травы легла...
...Было вот так и вначале,
Только — в преддверье тепла.



ДЕНЬ: 12 МАРТА 1981 ГОДА

Дни марта меж собою не в родстве.
Двенадцатый — в нем гость или подкидыш.
Черты чужие есть в его красе
и март: «Эй, март!» — сегодня не окликнешь.
День — в зиму вышел иравом и лицом:
когда с холмов ее снега поплыли,
она его кукушкиным яйцом
снесла под перья матери-теплыми.
Я нынче глаз не отпускала спать
и как же я умна, что не заснула!
Я видела, как воля дня и стать
пришли сюда, хоть родом не отсюда.
Дню доставало прирожденных сил
и для восхода, и для снегопада.
И слышалось: «О, нареченный сын,
мне боязно, не восходи, не надо».
Ему, когда он челядь набирал,
все, что послушно, явно было скушно.
Зачем поземка, если есть буран?
Что в бледной стыни мыкаться? Вот — стужа.
Я, как известно, не ложилась спать.
Вернее, это дню и мне известно.
Дрожать и зубом на зуб не попасть
мне как-то стало вдруг неинтересно.
Я было вышла, но пошла назад.
Как не пойти? Описанный в тетрадке,
дня нынешнего пред... — скажу: пред-брат —
оставил мне наследье лихорадки.
Минувший день, прости, я солгала!
Твой гений — добр. Сама простыла, дура,
и провожала в даль твои крыла
на зябких крыльях зыбкого недуга.
Хворь — боязлива. Ей невольготу
терпеть окна красу и зазыванье —
в блеск бытия вперяет слепоту,

со страхом слыша бури завыванье.
Устав смотреть, как слишком сильный день
гнет сосны, гладит против шерсти ели,
я без присмотра бросила метель
и потащилась под просмотр постели.
Проснулась. Вышла. Было семь часов.
В закате что-то слышимое было,
но тихое, как пенье голосов:
«Прощай, прощай, ты мной была любима».
О, как сквозь чернь березовых ветвей
и сквозь решетку... там была решетка —
не для красы, а для других затей,
в честь нищего какого-то расчета...
Сквозь это все сияющая весть
о чем-то высшем — горем мне казалась.
Нельзя сказать: каков был цвет. Но цвет
чуть-чуть был розовой, чем несказанность.
Вот участь совершенной красоты:
чуть брезжить, быть отсутствия на грани.
А прочего всего — грубы черты.
Звезда взошла не как всегда, а ране.
О день, ты — крах или канун любви:
к тебе, о день? Уж видно мне и слышно,
как блещет в небе ровно пол-луны:
все — в меру, без изъяна, без излишка.
Скончаньем дня любуются слеза.
Мороз: слезу содеешь, но не выльешь.
Я ничего не знаю и слепа.
А божий день — всезнающ и всевидящ.

12—13—14 марта 1981 года

НЕПОСЛУШАНИЕ ВЕЩЕЙ

Что говорить про вольный дух свечей —
все подлежим их ворожке и сглазу.
Иль неодушевленных нет вещей,
иль мне они не встретились ни разу.
У тех, что мне известны, — норов крут.
Не перечеть их вспылчивых поступков.
То пропадут, то невнонад придут,
свой тайный глаз сокрыв, но и потушив.
Сейчас вот потешались надо мной:

Вещь — щелкала не для, а вместо света,
и заточенный в трубы водяной
не дал воды и задрожал от смеха.
Всю эту ночь, от хваткости к стихам,
включатель тьмы пощелкивал над слухом,
просил воды назойливый стакан
и жадный кран, как щедрый филин, ухал.
Удел вещей: спешить куда-то вдаль.
Вчера, под вечер, шаль мне подарили —
под утро зябнет и скучает шаль,
ей невтерпеж обнять плеча другие.
Я понукаю их свободный бег —
пусть будет пойман чьей-нибудь рукою,
как этот вольный быстротечный снег,
со всех холмов сзываемый Окою.
Я не умела вещи приручать.
Их своеволие оставляю людям.
Придвиньтесь ближе, лампа и тетрадь.
Мы никакую вещь не обессудим.
Сейчас, сей миг, от сей строки — рука
отпрянула, я ей перекрестилась:
для шумного, из недр души, зевка
дверь шкафа распахнулась и закрылась.

В ночь на 23 и 23 марта 1981 года.

ЛУНА ДО УТРА

Что опыт? Вздор! Нет опыта любви.
Любовь и есть отсутствие былого.
О, как неопытно я жду луны
на склоне дня весны двадцать второго.
Уже темно! И там лишь не темно,
где нежно меркнет розовая зелень.
Ее скончанье и мое окно —
я так стою — соотношу я зреньем.
Соблазн не в том, что схожи цвет и свет —
в окне скучает роза абажура —
меж ними — муки связь: о, лампа, нет,
свет изведу, а цвет не опишу я.
Но прежде надо перенести зарю —
весть тихую о том, что вечность — рядом.
Зари не видя, на печаль мою

окно мое глядит печальным взглядом.
Что, ситцевая роза, зажилась?
Ко мне твоя пылает сердцевина
такую страстью, что — звезда зажглась,
но в схватке вас двоих — не очевидна.
Зажглась предтеча десяти часов.
Страшусь, что помрачневшими глазами
я вытяну луну из-за лесов
иль навсегда оставлю за лесами.
Как поведенье нервов назову?
Они зубами рвут любой эпитет,
до злата прожигают синеву
и причиняют небесам Юпитер.
Здесь, где живу, есть — не скажу: балкон —
гроздь ветхости, нарост распада, или
древесное подобье облаков,
образование трогательной гнили.
На все на это — выхожу. Вон там,
в той стороне, опасность золотая.
Прочь от нее! За мною по пятам
вихрь следует, покров стола взметая.
Переполох испуганных листов
спроста ловлю, словно метель иль стаю.
Верх пекла огнедышит из лесов —
еще сильнее и выпуклей, чем знаю.
Вздор — хлад, и желтизна, и белизна.
Что опыт, если все непредвестимо.
Как оборотень, движется луна,
вобрав необратимое светило.
(И, кстати, там, за брезжущей чертой
и лунной ночи, и стихотворенья
истекшее вот этой краснотой
я встречу солнце, скрытое от зренья.
Всем полнокровьем выкормив луну,
оно весь день пробудет в блеклых нетях.
Я видела! Я долг ему верну
стихами, что наступят после этих.)
Подъем луны — непросто претерпеть.
Уж мочи нет — все длится проволочка.
Тяжелая, еще осталась треть
инным очам и для меня заочна.
Вот — вся округлость видима. Луну —

Явилась и зависла. Я люблю
ее привычку медлить между сосен.
Затем, что край обобран чернотой, —
вдруг как-то человечно косовата.
Но не проста! Не попрана пятой
(я знаю: он невинен) космонавта.
Вдруг улыбнусь и заново пойму,
чей в ней так ясен и сохранен гений.
Она всегда принадлежит ему —
имуществом двух маленьких имений.
Немедленно луна меняет цвет
на мутно-серебристый и особый.
Иль просто ей, чтоб продвигаться вверх,
удобно стать бледней и невесомей.
Мне все труднее подступать к окну.
Чтоб за луной угнался провожатый:
влюбленный глаз — я голову клоню
еще левей. А час который? Пятый.
На этом точка падает в тетрадь.
Сплошь темноты — все зримее и реже.
И снова нужно утро озирать —
нежнее и неграмотней, чем прежде.

26—27 марта 1981 года.

ВО СЛЕД 27 ДНЮ МАРТА

У пред-весны с весною столько распрей:
дождь нынче шел и снегу досадил.
Двадцать седьмой, предайся, мой февральский,
объятаям — с мартом днем двадцать седьмым.
Отпразднуем, погода и погода,
наш тайный праздник, круглое число.
Замкнулся круг игры и хоровода:
дождливо—снежно, холодно—тепло.
Внутри, не смея ничего нарушить,
кружусь с прозрачным циркулем в руке
и белую пространную окружность
стесняю черным лесом вдалеке.
Двадцать седьмой, февральский, несравненный,
посол души в заоблачных краях,
герой стихов и сирота вселенной,

вернись ко мне на ангельских крылах.
Благодарю тебя за все побряжки.
Просила я: не отнимай зимы! —
теплыни и сиянья неполадки
ты взял с собою и убрал с земли.
И все, что дале делала природа,
вступив в открытый заговор со мной, —
не пропустив ни одного восхода,
воспела я под разною луной.
Твой нынешний ровесник и соперник
был мглист и долог, словно времена,
не современен марту и сиренев,
в куртины мрака спрятан от меня.
Я шла за ним! Но — чем быстрее аллея
петляла в гору, пятась от Оки,
тем боязливей кружево белело,
тем дальше убегали башмачки.
День уходил, не оставляя знака, —
то, может быть, в слезах и влопыхах,
Ладьяжина прекрасная хозяйка
свой навещала разоренный парк.
Закат исполнен женственной печали,
день медленно скрывается во мгле —
пять лепестков забытой им перчатки
сиренью увядают на столе.
Опять идет четвертый час другого
числа, а я — не вышла из вчера.
За днями еженощная догонка:
стихи — тесна всех дней величина.
Сова? Нет! Это вышла из оврага
большая сырость и вошла в окно,
согрелась — и отправился обратно
невнятно-белый неизвестно кто.
Два дня моих, два избранных любимца,
останьтесь! Нам — расстаться не дано.
Пусть наша сумма бредит и клубится:
ночь, солнце, дождь и снег — нам все равно.
Как много нас! — а нам еще не вдосталь.
Ночь жалуется в страннопримный дом.
И то, во что мне утро обойдется, —
я претерплю. И опишу — потом.

В ночь на 28 и 28 марта 1981 года.



Пришелец День, не стой на розовом холме!
 Не дай, чтобы заря твоим чертам грубила.
 Зачем ты снизошел к оврагам и ко мне?
 Я узнаю тебя. Ты родом из Урбино.
 День-божество, ступай в Италию свою.
 У нас еще зима. У нас народ балует.
 Завистник и горбун, я на тебя смотрю,
 и край твоих одежд мой тайный гнев целует.
 Ах, мало оспы щек и гнилости в груди,
 еще и кисть глупа и краски непослушны.
 День-Совершенство, сгинь! Прочь от греха уйди!
 Здесь за корсаж ножи всегда кладут пастушки.
 Но ласково глядел богоподобный День.
 И брату брат сказал: «Брат досточтимый, здравствуй!»
 Престольный праздник трех окрестных деревень
 впервые за века не завершился дракой.
 Неузнанным ушел День-Свет, День-Рафаэль.
 Но мертвый дуб расцвел средь ровных долины.
 И благостный закат над ними розовел.
 И странники всю ночь крестились на руины.

Февраль 1982 года

РОД ЗАНЯТИЙ

Упорствуешь. Не хочешь быть. Прощай,
 мое стихотворенье о десятом
 дне февраля. Пятнадцатый почат
 день февраля. Восхода недостаток
 мне возместил предутренний не-цвет,
 какой в любом я уличаю цвете.
 Но эту смесь составил фармацевт,
 нам возбранивший думать о рецепте.
 В сей день покаюсь пред прошедшим днем.
 Как ты велел, мой лютый исповедник,
 так и летит мой помысел о нем
 черемуховой осыпью под веник.
 Печально озираю лепестки —
 клочки моих писаний пятинощных.
 Я погубитель лун и солнц. Прости.
 Ты в этом не повинна, печь-сообщник.

Пусть небеса прочтут бессвязный дым.
Диктанта их занесшийся туница,
я им пишу, что Сириус — один
у них, но рядом Орион толпится.
Еще пишу: все началось с луны.
Когда-то, помню, я щекою льнула
к чему-то, что не властно головы
угомонить в условиях полнолуныя.
Как дальше, печь? Десятое. Темно.
Тень птичьих крыл метнулась из оврага.
Не зря мое главнейшее окно
я в близости зари подозревала.
Нет. Ванька-мокрый не возжег цветка.
Жадней меня он до зари охотник.
Что там с Окой? Черным-бела Ока, —
мне поклялись окно и подоконник.
Я ринулась к обратному окну:
— А где луна? — ослепнув от мороза,
оно или не видело луну,
или гнушалось глупостью вопроса.
Оплошность дремы взору запретив,
ушла, его бессонницей пресытись!
Где раболопных букв и запятых
сокрылся самодержец и проситель?
Где валенки? Где двери? Где Ока?
Ум неусыпный — слаб, а любопытен.
Луну сопровождали три огня.
Один и не скрывал, что он — Юпитер.
Чуть полнокружъя ночь себе взяла,
но яркости его не повредила.
А час? Седьмой, должно быть, и весьма.
Уж видно, что зоря неотвратима.
Я оглянулась, падая к Оке.
Вон там мой Ванька, там мой чернила.
Связь меж луной и лампою в окне
так коротка была, так очевидна.
А там внизу, над розовым, едва —
(еще слабей... так будущего лета
нам роза нерасцветшая видна
отсутствием и обещаьем цвета...
в какое слово мысль ни окунем,
заря предстанет ясною строкою,
в конце которой гаснет огонек

в селе, я улыбнулась, за рекою...) —
там блеск вставал и попирал зарю.
Единственность, ты имени не просишь,
и только так тебя я назову.



Лишь множества — не различить без прозвищ.

Но раб, в моей ютящийся крови,
чей горб мою вытягивает ношу,
поднявший к небу черные круги,
воздвигший то, что я порву и брошу,
смотрел в глаза родному божеству.
Сильней и ниже остального неба
сияло то, чего не назову.

А он — молился и шептал: Венера...

Что было дальше — от кого узнать?

На этом и застопорились строки.

Я постояла и пошла назад.

Слепой зрачок не разбирал дороги.

В луне осталось мало зримых свойств.

Глаз напрягался, чтоб ее проведать,
зато как будто прозревал насквозь
прозрачно-беззащитную поверхность.

В девять часов без четверти она
за Паршинское канула заснежье.

Ей нет возврата. Рознь луне луна.

И вечность дважды не встречалась с ней же.

Когда зайдет — нет ничего взамен.

Упустишь — плачь о мире запредельном.

Или воспой, коль хочешь возыметь, —
и плачь о полнолунье самодельном.

В тот день через одиннадцать часов
явилась пеклом выпуклым среди сосен,
и робкий круг, усопший среди лесов,
ей незнаком был, мало — что несродствен.

К полуночи уменьшилась. Вдоль глаз
промчалась вместе с мраком занебесным.

Укрылась в мутных нетях. Предалась
не Пушкинским, а беспризорным бесам.

Безлунно и бесплодно дни текли.

Раб огрызался, обратиться если
с покорной просьбой. Где его стишки?

Не им судить о безымянном блеске.

О небе небу делают доклад.

Дай бездны им! А сами — там, в трясице

былого дня. Его луну догнать
в огне им будет легче, чем в корзине.
Вернусь туда, где и стою: в не-цвет.
Он осторожен и боится сглазу.
Что ты такое? — Сдержанный ответ
не всякий может видеть и не сразу.
Он — нелюдим, его не нарекли
эпитетом. О, пылкость междометья,
не восхваляй его и не груби
пугливому мгновенью междудветья.
Вот-вот вспугнут. Расхожая лыжня
простерта предзарядкою заядлой.
В столь ранний час сюда тащусь лишь я.
Но что за холод! Что за род занятий!
Устала я. Мозг застлан синевою.
В одну лишь можно истину взглядеться:
тот ныне день, в который Симеон
спас смерть свою, когда узрел младенца.
Приемыш я иль вовсе сирота
со всех сторон глядящего пространства?
Склонись ко мне, о ты, кто сорока
дней от роду мог упокоить старца.
Зов слышался... нет, просьба... нет, мольба...
Пришла! Но где была? Что с нею случилось?
Иль то усталость моего же лба,
восплывши в небо, надо мной смеялась?
Полу-луна изнемогала без
полу-луны. Где раздобыть вторую?
Молчи, я знаю, счетовод небес!
Твоя — при ней, я по своей горюю.
Но весело взбиралась я на холм.
Испуг сорочий ударял в трещотки.
И, пышущих здоровьем и грехом,
румяных лыжниц проносились щеки.
На понедельник Сретенье пришлось
и нас не упасло от встреч никчемных.
Сосед спросил: «Как нынче вам спалось?»
Что расскажу я о моих ночевьях?
Со мной в соседях — старый господин.
Претерпевая этих мест унынье,
склоняет он матерьялизм седин
и в кушанье, и в бесполезность книги.
Я здесь давно. Я приняла уклад

соседств, и дружб, и вспыльчивых объятий.
Но странен всем мой одинокий взгляд
и непонятен род моих занятий.



Февраль 1982 года

ГУСИНЫЙ ПАРКЕР


Когда, под бездной многостройной,
вспять поля белого иду,
восход моей звезды настольной
люблю я возыметь в виду.
И кажется: ночей равниной,
чья даль темна и грозен верх,
идет чужим окном хранимый
другой какой-то человек.
Вблизи завидев бесконечность,
не удержался б он в уме,
когда б не чьей-то жизни встречность,
одна в неисчислимой тьме.
Кто тот, чьим горестным уделом
терзаюсь? Вдруг не сыт ничем?
Униженный, скитался где он?
Озябший, сыщет ли ночлег?
Пусть будет мной — и поскорее,
вот здесь, в мой лучший час земной.
В других местах, в другое время
он прогадал бы, ставши мной.
Оставив мне снегов раздолье,
вот он свернул в мое тепло.
Вот в руки взял мое родное
злато-гусяное перо.
Ему кофейник бодро служит.
С пирушки шлют гонца к нему.
Но глаз его раздумьем сужен,
и ум его брезглив к вину.
А я? В Ладыжинском овраге
коли не сгину — огонек
увиджу и вздохну: навряд ли
дверь продавщица отомкнет.
Эх, тьма, куда не пишут письма!
Что продавщица! — у ведра
воды не выпросишь напиток:

рука слаба, вода — тверда.
До света нового, до жизни
мне б на печи не дотянуть,
но ненавистью к продавщице
душа спасется как-нибудь.
Зачем? В помине нет аванса.
Где вы, моих рублей дружки?
А продавщица — самовластна,
как ни грози, как ни дрожи.
Ну, ничего, я отскитаюсь.
С получки я развею грусть:
и с продавщицей расквитаюсь,
и с тем солдатом разберусь.
Ты спятил, паркер, ты ошибся!
Какой солдат? — Да тот, узбек.
Волчицей стала продавщица
в семь без пяти. А он — успел.
Мой паркер, что тебе в Ладые?
Очнись, ты родом не отсель.
Зачем ты предпочел латыни
докуку наших новостей?
Светает во снегах отчизны.
А расторопный мой герой
еще гостит у продавщицы:
и смех, и грех, и пир горой.
Там пересуды у колодца.
Там масленицы чад и пыл.
Мой паркер сбивчиво клянется,
что он там был, мед-пиво пил.
Мой несравненный, мой гусиный,
как я люблю, что ты смешлив,
единственный и неусыпный
сообщник тайных слез монах.

23—25 февраля 1982 года

ИЗ КАРЛО КАЛАДЗЕ

●
Вот виноградник, но я виноградного сока
не собиратель, а созерцатель. Смешно
сердцу от боли: зачем одинокому столько



лоз виноградных, в которых погибнет вино?
Я одинок. Претерпел я и муку, и скуку
жить, когда солнце уходит за мыс, вон — за тот
О, мой Нодар, если встретишь Джансуга — Джансугу
все же скажи: пусть придет, когда солнце зайдет.
Вот что я вспомнил, Нодар, этим утром. Я вспомнил
птиц твоих бедных. Да, птиц твоих бедных беру.
Миг воспаренья и время уныния — сон лишь,
вместе придите, ведь я — не смогу, не приду.
Что же мне делать? Мне нечего делать. Всех истин
скорбь я узнал: эта скорбь велика.
Не говорите другим: поздравительных писем
больше не пишет, уже не напишет рука.
Но — колдовство! Волшебство! Мой несбывшийся,

робкий

почерк — не к чайкам ли, чтобы лететь и дрожать
белою почтою над равнодушной Европой,
писем столь белых не станут же дома держать.
В море и в сердце такого объема и роста
длится минута, что ей миновать я не дам.
С-с-с — это море и удочка, просьба и проза,
что мне другие! А ты — разгадаешь, Нодар.
Что с этим небом, чей пламень склоняется к мысу,
но не склонился. Не вечен ли этот закат.
Я без тебя и последнего мрака не мыслю.
В сумерках этих войди, напевая, в мой сад.
Есть благодать: убережь поднебесные гроздьа.
Я бы содеял вино, если б знал для кого.
Будь здесь хозяин — прошу драгоценного гостя,
То и другое сложу, это строки Карло.
Нам лишь сентябрь подыграет. Бесечно, бесслезно
свидимся, друг, и Джансуга с собой позови.
Щуришься ты как от солнца, иль щурился солнце
Так вот, как ты.

В крайний миг бытия и любви.

САГУРАМО

Я твой родничок, Сагурамо,
 Наверно, вовек не забуду.
 Здесь каменных гор панорама
 Вставала, подобная чуду...

Н. ЗАБОЛОЦКИЙ

Я ПЫТАЮСЬ заглянуть на дно памяти, чтобы найти там живые черты, которые помогли бы мне выразить его образ — таким, как я его понимаю, вижу и сохранил навсегда. Память изменяет мне, конкретные факты почти совсем исчезли, вытеснились его стихами. Но, может быть, это к лучшему? Стихи его все больше поражают меня своим внутренним темпераментом, сдержанной, я сказал бы, торжественной силой и мудрым лаконизмом.

Они открылись мне не сразу, а много позже. Вернее, открывались постепенно, как и он сам.

Я познакомился с ним весной 47-го года в Сагурамо, а до этого никогда не видел, но читал (и запомнил) его книжку «Столбцы», вышедшую еще в 1929 году. Тогда она ошарашивала нарочитой пародийностью стиха. Поэт издевался над нэповской Россией тех лет, описывая черты ее старого и нового быта, еще уродливого, в гротескных картинах тракторов и пивных баров, нардомовских увеселений («Народный дом, курятник радости, амбар волшебного житья...»), зловонных лестниц, рыбных лавок («где бабы толсты, словно кадки»), пекарен и торжествующих Ивановых («На службу вышли Ивановы в своих штанах и башмаках»). Я не принадлежал к тем, кто считал его первую книжку мальчи-

Статья печатается с сокращениями.

шеским фрондерством и формалистическими выкрутасами в духе Хлебникова, перемешанного с Козьмой Прутковым, или причудами филоновской живописи. Он вообще повит ретранжностями живописцев. Босх? Брейгель? Не это главное, не здесь истоки. Он кипел яростью, зло высмеивал новое сытое мещанство, одержимое жаждой стяжательства.

Это была поэзия злая, выворачивающая наизнанку все гримасы тогдашней жизни. Нечего и говорить, как он раздражал многих. И не заметили сразу, что в «Столбцах» развернулся поэт блистательный и самобытный, на удивление цельный, несмотря на молодость, и по своему отношению к действительности, и по образному строю, резкости приемов и языка. Он уже тогда в совершенстве владел формой, которую выбрал своим оружием...

Отшумели ненастья марта в Тбилиси, расцвел апрель, и это значило для меня, что можно перебираться в Сагурамо. Внизу, в городе, уже начиналась жара, а здесь, в горах, веяло прохладой.

От Мцхета дорога шла все выше и выше, мимо обелиска, поставленного на том месте, где предательски был убит Илья Чавчавадзе, и далее поворот и еще поворот и, наконец, появлялись ворота, въезд в небольшую усадьбу с виноградниками по крутым склонам, к небольшому дому, где мы жили. Сейчас там, кажется, Чавчавадзевский филиал литературного музея, а тогда — маленький Дом творчества Союза писателей Грузии. Я поселялся в нем, лишь только он открывался, а в начале лета 47-го года появился и Заболотский. Мы прожили там до осени. Продуктовые карточки (тогда были еще карточки) сдавались в Тбилиси Литфонду, и вот получали мы завтрак, обед и ужин, иногда похуже, иногда получше, но для нас — лучше не пожелаешь, и недорого, и без забот. Грузинский Литфонд знал, что для нас это буквально спасение, и по распоряжению Бесо Жгенти нам выдавали путевки сразу на весь сезон. Ираклий, директор Сагурамского дома, устраивал нас поудобнее (комнаты попросторнее, письменные столы с настольными лампами, лишние одеяла), потому что мы для него были не просто очередные «путевочники», а гости грузинских писателей...

Жизнь наша в Сагурамо наладилась сразу, и день шел за днем, мало чем отличаясь. Это был сказочный по тем временам быт, отключивший нас от всех многотрудных преодолений, постоянных, в том числе мелких, тревог. Вдруг их не

стало, и можно было работать, сосредоточиться, подумать. Вдруг случилась великолепная остановка в пути, когда можно было передохнуть, набраться сил и подготовиться для дальнейшей жизни. Нужно ли говорить, как мы в этом нуждались? Мы старались жить здесь почти безвыездно, и эта отрешенность на все лето и осень не пугала, а к тому же нас не забывали грузинские друзья.

Частенько, бывало уже в темноте, останавливался литфондовский газик, и мы бежали встречать бесконечно приветливого Симона Чиковани, шумного, барственный Гоглу Леонидзе, красавицу нашу Нато Вачнадзе или еще кого-нибудь из Тбилиси. За скромным домоотдыховским ужином появлялась бутылка вина, ее всегда привозили гости. Гогла произносил тосты, и его орлиный профиль освещала луна. Ираклий подбрасывал парочку длинных огурцов, зеленый лук, а то, глядишь, и овечьего сыра. Нам вручали газеты («Зарю Востока», «Правду») за много дней, новые журналы, почту, приходившую на наше имя в Союз, и, самое интересное, сообщались вести из Москвы, новости, слухи, городские толки. Засиживались за полночь. Заболоцкий получал папку с новыми подстрочниками для переводов. Гости редко оставались ночевать и, казалось, их нисколько не обременяло такое мимолетное путешествие. Нет, они не забывали нас на нашей горе! И это было дорого, это было важно. И как важно было, что работы подбрасывали все больше и больше...

И в самом деле, надо было всерьез подготовиться к возвращению в Москву. Семья Заболоцкого состояла из четырех человек, не так уж это мало, ведь надеяться можно было лишь на свой литературный труд. Хватит ли сил у стихов, чтобы при их помощи сдвинуться с места, вытянуть четырех и начать жизнь заново? Мне было легче, нас было только двое.

Его ценили в Грузии.

Там всегда ценили русских литераторов, которые любили грузинскую поэзию, вникали в ее истоки, любили ее историю. Но у Заболоцкого было совсем не такое положение, как у других поэтов, наезжавших сюда...

Его окружали прославленные поэты, известные и за пределами Грузии. Рядом с ними он был еще отнюдь не общепризнанный автор. За ним числились два сборника — «Столбцы» (1929 г.), «Вторая книга» (1937 г.) и небольшое количество журнальных публикаций. Его знали и как переводчика (в 1939 году вышел его перевод — переложение

для юношества — «Витязя в тигровой шкуре»), но то новое, что он писал теперь, еще было мало известно, лишь крупными. Его литературное и общественное положение ^{и продол-} жалось оставаться несколько неопределенным...

Это он всегда помнил. И даже за пышнословным грузинским столом сдержанно откликнулся на обращенные к нему чувства, вежливо формулировал мысли, которые пристало сказать, когда приходил черед его ответному тосту. Как правило, говорил коротко. Лишь постепенно освобождался он от тяготившей его внутренней напряженности, никогда не высказываемой, пока, наконец, не понял до конца, что он — не позастольному почетный гость, что он — друг, что он — среди искренних друзей и что он — равный в их прославленном кругу!

Неповторимая Грузия, поистине страна поэтов!

Я ведь узнал ее не только на парадах обволакивающего грузинского гостеприимства. Я узнал ее будни. Уже как своего человека меня приобщали к участию в веселых встречах заезжего гостя, и мы обрушивали на него головокружительную программу празднеств и пиршеств, от лица всей Грузии, за честь и красоту которой тотчас дружно выступали, объединившись. А вне этих дней мало ли могло быть «семейных» распрей, внутренней самолюбивой чехарды в погоне за успехом, в соперничестве? Могло ли быть иначе в такой маленькой и темпераментной стране, особенно же в ее литературе и искусстве, где творческий напор так велик? Но все это мгновенно забывалось, исчезало при появлении посторонних глаз! И мы с Заболоцким не раз добродушно посмеивались, наблюдая раскрасневшиеся лица очарованных гостей, и тоже подливали им вина, стараясь не меньше хозяев... Да, мы были уже не в «гостиной», а в «кухне», где бывало и чадно, и трудно, и суетно, но это не только не омрачало, но даже возвышало черты той Грузии, о которой нельзя было не воскликнуть — страна поэтов!

За многое я благодарен ей, благодарен и за то, что она одна из первых угадала в Заболоцком замечательного русского поэта — именно угадала, почувствовала — и, главное, по-братски приняла его на своей земле...

...И вот он погружен в кропотливую работу над переводами. Переводит современных поэтов (Леонидзе, Чиковани, Табидзе и др.). Он трудится (конечно, в разное время) над пере-

водами Руставели, Гурамишвили, Орбелиани, Акакия Церетели, Важа Пшавела. Он постигает формы грузинской классики, ее многовековую поэтическую культуру и ее сегодняшние тенденции.

Наряду с подстрочниками мастеров к нему на стол попадают и подстрочники молодых, часто несовершеннолетних поэтов. Это — текучка, журнальный заказ, а иногда застольные приятельские просьбы — как отказать? Однажды я прочитал стихотворение и удивился таланту неведомого мне автора, которого он только что перевел.

— Очень хорошие стихи.

— А что? — Заболоцкий насторожился. — Хорошо? — И по-детски просиял. — Вы думаете?

— А вы — нет? Дайте-ка мне подстрочник!

Искоса на меня поглядывая, он неохотно подал листок.

— Ну, знаете! — возмутился я. — Ничего похожего!

— А что я мог сделать? — заволновался он. — Побудьте на моем месте! Надо же было, чтобы получились стихи, а не бог знает что!

— Вот, вот, так и создаются дутые имена. Бывает, таким способом и в антологию попадают, чуть не в классики зачисляются, хорошенькое дело! Или вы думаете, что поступаете правильно?

— Черт знает что вы говорите, — насутился Заболоцкий, и детская радость, что под напором легкого возбуждения вдруг написалось хорошее стихотворение, мгновенно исчезла.

Этот эпизод, может быть, не единственный, но не характерный для Заболоцкого и накрепко им осужденный. Он не умел угодить заказчику, у него это просто не выходило. Как правило, он был очень требователен к тому, что ему предлагали переводить. И чем дальше, тем строже. Ему нужны были сочинения образцовые, потому что, работая над ними, он оттачивал свое мастерство. Тут не пахло ремесленничеством. Появилась не только ответственность, но и неподдельная увлеченность.

Он стремился к широкому постижению поэзии¹.

Всякий дилетантизм отвращал его. Он хотел безукоризненно передавать живую пленительность подлинника. Он не мог довольствоваться знанием лишь отдельных стихотворений пе-

¹ Позднее — в 50-х гг. — он обращается к современным итальянским поэтам, к украинской, узбекской, таджикской поэзии, продолжая творческую дружбу с Грузией.

реводимого поэта, он старался понять его в целом. Только тогда, говорил он, открывается не только явный, но и тайный/ смысл произведения, его ключевые символы. Только в этом случае происходит второе рождение поэта на новом языке. В записях к «Заметкам переводчика» он писал: «Переводчик сочетает в своем лице черты писателя и ученого. Но пусть черты ученого будут скрыты в глубине, а черты писателя явственно проступают наружу».

Но он не только переводил, он писал и свои стихи (гораздо больше, чем я подозревал тогда). И все же наибольшая часть трудового дня приходилась на переводы.

Тотчас после раннего завтрака он усаживался за стол. Мы жили рядом, и иногда я слышал его размеренные шаги: он ходил по комнате.

Нередко среди дня он тихонько стучал ко мне и, поместившись в дверях, читал только что законченный перевод. Видимо, читал не столько то, что казалось ему эффективным, сколько то, что было важным, ибо, на его взгляд, был подобран ключик к переводимому поэту, уловлен его характер, манера, жест. Обычно Заболоцкий предварял чтение кратким вступлением, объясняя мне, кто таков этот поэт и почему именно так, а не иначе сделан перевод. Он был серьезен в этот момент, даже угрюм. Но когда читал строчки особенно легкие, изящные, то не мог скрыть улыбки и как бы приглашал вместе порадоваться удаче.

Только я глаза закрою —
 предо мною ты встаешь!
Только я глаза открою —
 над ресницами плывешь!
О, царица, до могилы
 я — невольник бедный твой,
Хоть убей меня, светило,
 я — невольник бедный твой.
Ты идешь — я за тобою,
 я — невольник бедный твой.
Ты глядишь — я за спиною,
 я — невольник бедный твой...

Ему нравились эти стихи. Он был доволен. Орбелиани удавался ему!

— Знаете, как называется эта форма восточного стиха? — оживленно говорил он. — Она называется — мухамбази. Григорий Орбелиани часто пользовался ею, но очень

свободно, соблюдая лишь пятистрочную строфу. А это реф-
рен:

Только я глаза закрою...

И он легонько покачивал головой, жмурясь, как кот, кото-
рого почесывают за ушком.

Он охотно знакомил грузинских писателей со своими но-
выми переводами, это обычно происходило в Союзе, а однаж-
ды участвовал в литературном вечере в концертном зале те-
атра имени Руставели и читал там свои стихи.

Он не любил выступать в больших аудиториях, немного
нервничал, но на эстраду выходил спокойный, серьезный и,
поправив очки, читал ровно и внятно. Рядом с громогласными
и подвывающими поэтами, привычно разгуливающими по
эстраде, он выглядел прозаично, и его провожали лишь веж-
ливыми аплодисментами. Это его не огорчало. Он предпочи-
тал читать в тесном кругу. И тут было видно, что ему отнюдь
не безразличен будущий читатель. На слушателе, который ока-
зывается рядом, можно было проверить ясность и заражае-
мость каждой своей строчки. Вот что было важно. Но он не
нуждался в дешевом, внешнем успехе. Мелкое тщеславие бы-
ло ему чуждо. Его отношение к поэзии было выше этого.

Любое многолюдство угнетало его. Но писал он не для
себя, а для людей, хотя, требовательный к себе, печатался
скупо и каждый раз по-юношески радовался напечатанному
стихотворению. Он писал, чтобы печататься, и к этому стре-
мился, но, мне кажется, он писал бы и на необитаемом ост-
рове...

Он любил уединение, но страшился одиночества.

Он любил книгу, чтение, и его не тянуло к зрелищам.

Был абсолютно равнодушен к театру, к кинематографу.
Не помню, чтобы он с увлечением рассказывал о каком-ни-
будь спектакле или фильме. Теоретически любил цирк. И
очень старательно вникал в живопись.

«Любите живопись, поэты!» — писал он позже, в 50-х
годах, вглядываясь в портреты Рокотова, в таинственный
психологизм их, подобно тому, как заражался в «Столбцах»
великолепными примитивами современной живописи. В те
20-е годы он пытался изобразить в стихах движение бегущей
извозчицей лошади и делал это с экспрессией футуриста:

А бедный конь руками машет,

То вытянется, как налим,

То снова восемь ног сверкают
В его блестящем животе.



Теперь же отнюдь не эта динамика, выраженная словом, привлекала его. Он приглашает собратьев-поэтов любить живопись, потому что:

Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.

Все ушло вглубь! Прекрасен восторг от женских глаз на рокотовском портрете, в которых — «два тумана, полуулыбка, полуплач» и этот «полувосторг, полунспуг, бездумной нежности припадок, предвосхищенье смертных мук...» Внешняя суета, нарушавшая сосредоточенное созерцание, стала ненавистна ему...

Он ежился от болтунов. А уж если попадал в их компанию, то умел отключиться, даже находясь среди них, уйти в себя и незаметно продолжал жить своей внутренней жизнью.

В то памятное лето Сагурамо окружило его тишиной, и ничто не нарушало этой сладостной тишины! Что еще было нужно?

Окна наши выходили на родничок, тот самый, который описан им.

На противоположной стороне дома была черанда, летевшая над Карталинской долиной, над ее виноградниками, над ее простором. А горы подпирали нас со стороны родничка, они шли круто, поросшие зарослями кизила. Среди них вились тропы, уже в густых перепутанных лесах, и выводили к скалистой Зедазенской вершине. Там стоял древний монастырь, один из первых христианских монастырей в Грузии, возникший на месте разрушенного капища огнепоклонников. В монастыре жил одинокий монах, он же служащий Мцхетского отдела охраны памятников старины. С этой вершины простиралась и вовсе широченная панорама. Далеко внизу, серея своими куполами, виднелась древняя столица Грузии — Мцхета, и Арагва сливалась с Курой. Чуть выше — Джвари, место лермонтовской поэмы «Мцыри». Путники, туристы видят его снизу, с Военно-Грузинской дороги, а мы — куда как сверху, и под нами, часто закрывая панораму, плыли, проплывали облака...

Высоко забрались мы! Упоительно было пробираться по

заоблачным склонам, в чащобах, по нехоженным тропам, на которых виднелись вмятины легких оленьих следов. Только лесника Глахуну можно было встретить здесь. Бродили мы обычно, не докучая друг другу болтовней. Мы оба любили помолчать. Так вот и гуляли: молча. Набрели однажды на развалины какой-то церкви или часовни, нестарой по-видимому (и неведомо почему и как здесь возникшей). Встревоженные летучие мыши, висевшие до того вниз головой, взметнулись над нами. Раза два побывали в гостях у монаха, оказавшегося чернобровым, с жгучими, озорными глазами, угостили его вином. Он говорил с сильным грузинским акцентом и в отсветах костра казался огнепоклонником, возродившимся невесть как на этой горе. Откуда он появился и где он теперь? Наверное, давно помер этот странный монах, а к монастырю, должно быть, проложены оживленные туристские тропы, экскурсанты с наплечными мешками шумят в чащах, тогда нехоженных, диких, и уже нельзя встретить старого, мудрого Глахуну?.. А я помню ночь, когда мы спускались домой. Вокруг было полно таинственных шорохов и немного жутко...

Прогулки наши были редки. Надо было трудиться.

У меня тоже была своя «поденщина». По договору с киностудией я исправлял и редактировал сценарии, но главное было не в них. Я работал над пьесой о Грибоедове, человеке, не сломленном николаевским режимом, мудром дипломате, истинном патриоте и не осуществленном до конца писателе, трагическая смерть которого, по словам Пушкина, была «мгновенна и прекрасна»¹. Я писал о нем с увлечением. Тифлисская, грибоедовская атмосфера окружала меня!..

По соседству, не давая себе ни малейшего снисхождения, трудился удивительный Заболоцкий. Близко журчал наш неумолкаемый родничок.

**И днем, над работой склоняясь,
И ночью, проснувшись в постели,
Я слышал, как, в окна врываясь,
Холодные струи звенели...**

Даже тогда, когда мы подолгу не выходили из дому, не только этот родничок, но и вся величавая зедазенская природа незримо присутствовала в наших комнатах. Ее дыхание не

¹ В 1951 году пьеса была поставлена М. М. Яншиным в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского.

покидало нас. Мы ее чувствовали ежеминутно. И когда было солнечно-тихо, и когда шумел дождь. Это было прекрасно и сохранилось в памяти на всю жизнь...

В разгар работы, в один из дневных заходов ко мне, Заболоцкий, остановившись по обыкновению в дверях, деловито спросил:

— А что происходит с вашим Александром Сергеевичем?

— Скоро он уедет в Тегеран, оставив Нину в Тавризе.

— Так. Значит, дело идет к концу? Но вы говорили, что он мечтал выйти в отставку, поселиться в Цинандали и, наконец, писать!

— Да.

— Вот видите. А получилось иначе. У таджикского поэта Катра Тебризи есть такие строчки:

**Ты замыслов полон, но рок не жалеет людей.
Насмешка надежд ты в великой гордыне своей.**

Тебризи склонялся перед неотвратимостью судьбы, а Грибоедов? Нет! Он не склонялся, он испытывал судьбу! Споровил с ней! Женился на Нине за несколько месяцев до своей смерти, чтобы вопреки всему на свете быть счастливым и доказать, доказать это! Как важно! Быть счастливым! Особенно, когда нельзя терять мужества! Вы не находите? — постоял еще немного и добавил: — Тебризи жил в Иранском Азербайджане, в одиннадцатом веке.. — Посмотрел на меня, как сообщник, и вдруг, хитро прищурившись, закончил строчками из уже известного мне перевода «Весны» Григола Орбелиани:

**Не понимаю, видит бог,
Как я безумье превозмог,
Как я живым остаться мог,
Себя переломив?..**

Помешал? Простите.

Этот разговор мне запомнился. В нем, без сомнения, существовал какой-то потаенный смысл. Но всех обстоятельств его жизни я тогда не знал и не расспрашивал о них. Мы никогда не договаривали, ежели вдруг даже чуть-чуть касались личных переживаний: и он, и я.

Время от времени, отработав положенное число страниц, как пристало честным труженикам, спускались мы к Военно-Грузинской дороге в духан на подъездах к Мцхета, где по-

пивали дешевое, чуть терпкое, розоватое вино, пахнущее бои-
кой, и вспоминали, печаясь, родные речки и березы и
ушедших, навсегда потерянных друзей..

В то лето мало еще было туристов в этих местах, по дороге катили главным образом грузовики и полувоенные га-
зики, гораздо реже — эмки. Духан обычно пустовал: забе-
жит проезжий шофер наспех промочить горло стаканчиком, зайдет прохожий мастеровой, заедут два-три мохевца в вой-
лочных шапочках, на шумят, не то повздорят на непонятном
языке, не то поклянутся друг другу в вечной дружбе; и —
нет их, только цокот копыт за окном. Чаще всего сидели
мы вдвоем, чуть вечерело, и духанщик то и дело подносил
нам новый кувшинчик. Выпивалось иногда порядочно, заку-
сывали овечьим сыром не первой свежести. Разговор ожив-
лялся, но я не представляю себе, чтобы у нас могла полу-
читься пьяная беседа «по душам» с взаимными
излияниями, после которых наутро стыдно и за себя, и за
друга. Это исключалось. Да и вообще между нами, словно по
молчаливому уговору, соблюдалась какая-то дистанция в
отношениях. За дружеским вином мы становились несколь-
ко разговорчивее, чем обычно, чуть раскованнее, вот и все.

В один из таких «загулов» я рассказывал ему про роман
Булгакова «Мастер и Маргарита». Тогда о нем совсем не
знали, только друзья. При луне мы поднимались на свою го-
ру, как мастеровые, зашабашившие на денек, слегка в подпи-
тии, и разговор наш от этого романа перешел к разговору
об его авторе.

— Как вы думаете, Булгаков был житейски приспособ-
ленный человек? — спрашивал Заболоцкий, заволновавшись
рассказом о романе.

— Думаю, да.

— Значит, по-вашему, он был приспособленный? —
спрашивал Заболоцкий с каким-то особенно пытливым любо-
пытством. — И то, что он писал либретто для опер, сцена-
рии, инсценировки, редактировал чужие пьесы, не унизило
его писательство?

— Это никак не отразилось на его главном романе, о
котором я только что вам рассказал.

— И он продолжал выправлять его чуть ли не накануне
смерти, хотя знал, что не увидит его напечатанным?

— Да.

— Так всегда бывает, иначе копейка тебе цена! — с не-

поддельной горячностью воскликнул он, и словно какие-то сомнения отлетели от него. — Природа обязательно находит защитную форму для любого живого ростка, — говорил он. — Заметьте — живого! Характер наш формируется до пяти лет, в этом я убежден, а потом, смотря по жизни, вырабатывается и защитная форма. Понимаете? Было бы что защищать, и тогда сочетается приспособляемость и рядом — удивительно упорное самосохранение. У каждого по-своему, но для нашего брата обязательное. Вы не согласны?

— Я согласен.

— Однако приспособляемость эта, — засмеялся он, — должна находиться в строгих рамках, да еще каких, иначе все полетит к чертям!

В сущности, мы толковали все о том же, что не могло не волновать нас: как совместить работу профессионального литератора, живущего на строчки, которые он пишет, с тем, что является его писательской совестью, с тем, что он хочет, может и обязан сказать людям. Без этого жизнь его бессмысленна, если не подла, и тогда лучше оставаться чертежником или кем угодно, к чему ты можешь приложить свое умение, трудовые навыки и быть нужным..

Не раз возвращались мы нашей высокой дорогой, поднимаясь от Мцхета, и, чуть пьяненькие, присаживались передохнуть у обелиска Ильи Чавчавадзе. Над нами было звездное грузинское небо, внизу уже гасли огоньки селений.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь
вдохновенья,
Человеческий шорох травы, вещей холод на
темной руке,
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов — первых слов на
родном языке.

Тогда он еще редко читал свои стихи. Это были «первые, дальние громы», которые я услышал. Но уже существовали строки, обращенные к Бетховену, столь созвучному его поэзии («первых слов на родном языке»):

...И яростным охвачен вдохновеньем,
В оркестрах гроз и трепете громов,
Поднялся ты по облачным ступеням
И прикоснулся к музыке миров...

И были написаны стихи о бурной горной реке, которая обняла его большое тело. Схватившись за ускользящие камни, он лежал в ревущем потоке, но он переборол его, выходил из него и уже видел, как величественная овчарка приближалась к реке и (быть может, грозно?) ждала его...

И вышел я на берег, словно воин,
Холодный, чистый и земной,
И гордый пес, как божество спокоен,
Узнав меня, улегся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,
Изведав холод первобытных струй,
Я принял в сердце первый звук пандури,
Как в отрочестве — первый поцелуй.

Тут проскользнула как бы незначай и личная тема... И все же будущему биографу многое приоткроется в целом ряде строгих поэтических строк его поэзии, где, казалось бы, нет ничего о себе...

В его северных стихах чаще всего мы встречаемся с эпическим спокойствием поэта, с величественными, я сказал бы, торжественными описаниями природы. И это ударяет в сердце! Невольно по-иному озаряется его жизнь, весь он, каким был. В одном из писем он писал: «У ног природа, и счастье, и покой, и мысль». Вот чего нельзя было отнять у него никогда и ничем! Вдумайтесь, пожалуйста, в эти строки, и вы поймете, почему в его стихах открывается не только большой поэтический мир, но и необыкновенная духовная сила человека, их написавшего, та сила, которая сделала его мудрым и стойким.

А много позже, недавно, я прочитал его письмо, написанное жене в мае 1944 года, то есть когда было еще очень трудно и ей, и ему, и еще была война: «Катенька!.. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких, и мы с тобой много пережили. Но когда ты очнешься, разберешься в своих мыслях и чувствах, ты поймешь, что не даром прошли эти годы и не только выматывали твои силы, но в то же время и обогащали тебя, твою душу»¹.

¹ Отрывки из этого поразившего меня письма цитирую с разрешения семьи Николая Алексеевича, у которой хранятся его письма.

Нужно ли к этому что-нибудь добавить? Разве еще не сколько вырванных строчек из того же письма?.. «Ты пишешь: «Жизнь прошла мимо». Нет, это неверно... Для всего народа эти годы были очень тяжелыми, и я понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю». Не здесь ли заключена вся нравственная основа поэзии нового, послевоенного Заболоцкого?

Выстрадав, одухотворенный, он понял, что писатель больше чем кто-либо, должен достойно пройти назначенный путь... Рано или поздно писательское криводушие позорно разоблачается. И остается пример другой жизни, остаются носители других заветов:

**Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.**

Грузия — вторая родина! Эти стихи писались тотчас же после пребывания там. А писалось там много, и очень скоро это стало видно. Тогда, в Сагурамо, энергия была так велика и так жадна, что все сочеталось: и стихи, и переводы, и не опускались руки, не снижал мозг...

Впоследствии он напишет, перекликаясь с «Не спи, не спи, художник» Пастернака:

**Не позволяй душе лениться,
Чтоб в ступе воду не толочь.
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь..**

Он писал, как думал и как чувствовал. Голос очищался от всякой фальши, но в стихах его — об этом я уже говорил — редко встречаются строчки, впрямую говорящие о своем, о личном. Если Блок жил, как в стеклянном доме, и по его стихотворениям можно проследить почти весь его жизненный путь, то Заболоцкий словно твердил себе: не надо разбазаривать тему своей биографии, надо увидеть мир шире — объективный мир, — а любое самокопание отбросить...

Он прочно входил в нашу поэзию, и ни один ярлык не клеился к нему: ни ярлык отчужденности от жизни, потому что



живая кровь билась в его стихах, ни ярлык старомодности, потому что он владел плотным словом, а оно выдерживает любую моду. Разноголосица поэтических полемик не касалась его: ему было не до пустяков. Он писал.

**О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.**

Сагурамское лето окончательно сформировало «нового» Заболоцкого.

...С тех пор я не был в Грузии. Не знаю, что там и как там. Не стало наших общих с Заболоцким друзей — Чиковани, Леонидзе, Наташи Вачнадзе, друга моей молодости бесшабашного Коли Шенгелая, кинорежиссера и поэта. Иные, непохожие времена! Страшно приехать туда. Шумит ли там бурно-желтая Кура под свесившимся многобалконьем старого Тбилиси, где мы пировали, или всего лишь гудит под землей метро, не виденное мною, а над ним, говорят, высятся с клеточками окон дома-кубы, как во всемирных Черемушках, не отличимые друг от друга близнецы? Неужели? Дохнет иногда в грузинских фильмах прежним Тбилиси, обожгут, мелькнув в титрах, знакомые имена — Шенгелая.. Георгий... Эльдар... Да ведь это же Колины и Наташины, я знал их мальчишками! Какие стали? Как живут? Чем дышат?..

Страшно очутиться на проспекте Руставели неизвестным и никому не нужным. Из окон донесется чужое застолье — то, а может, и не то, к какому привык?.. Но все равно, что бы ни произошло, как бы ни изменилось, по-прежнему светит мне издалека огонек Сагурамо, не гаснет в моем сердце, а с ним вместе и память о Николае Алексеевиче Заболоцком.

Храню ее.



ТБИЛИССКОЕ ЛЕТО

На миг остановились возле нас
Летающие минуты и недели —
И вот мы снова в предвечерний час
Идем по улице Ахоспирели.

И вновь на крыши тяжесть гор легла,
И линии по-флорентийски четки;
И вновь — конические купола,
И выгнутые белые решетки,

И пианино в низеньком окне,
И теплый воздух, пахнувший черешней,
И темная афиша на стене:
Ойдипос царь, старинный житель здешний..



Александр КУШНЕР

В горной Грузии кажется, черных как смоль поросят
Видел, им надевают на шею чудной треугольник
Деревянный, затем, чтоб они в огород или сад
Не могли забрести, — поросенок бредет, как невольник.

Боже, как эта пыль на горячей земле хороша!
Как смешны и грубы деревенских хозяек уловки!
Жить и жить бы на свете, подробностями дорожа.
А еще ветерок веет с поля там, как из духовки.

И такие глаза у закованных этих бродяг,
И такой фантастической кажется тень на заборе

Треугольная, — жизнь представляется лучшим из благ,
Просто жизнь, просто тень, просто камни в цементном растворе.



Почему бы, скажи, в небылицу не верить и миф,
Почему бы не мог двухголовый родиться теленок,
Если ветви раздвоенных гнутся орехов и слив,
И так точно мотив подбирает пищалка спросенок?

НОЧЬ

Бог был так милостив, что дал нам эту ночь.
Внизу листва шумела,
Бежала, пенилась, текла, струилась прочь,
Вздымалась, дыбилась, остаться не хотела.

Как будто где-то есть счастливее места,
Теплее, может быть, роднее.
Но нас не выманишь, как тех чижей с куста,
Они затихли в нем, оставь их, им — виднее.

Бог был так милостив, что дал нам этот век.
Кому не думалось про свой, что он — последний?
Так думал римлянин, так раньше думал грек,
Хотя не в комиатах топтались, а в передней.

Мне видеть хочется весь долгий, страшный путь,
Неведенью предпочитаю знание.
Бог был так милостив, что прежде чем уснуть,
Я дрожь ловил твою и пил твое дыханье.

При сотворении он был один, в конце
Свое смущение он делит вместе с нами,
И ночью тени на лице
Волнами пенятся, колышутся цветами.

●
Четки католика янтарные перебирает.
Он из чистилища души всю жизнь выкупает.
Может быть, в эту минуту, так думает он,
Выпущен им, словно птица, на свет Цицерон?

Вкрадчивый, он представляет себе Цицерона
Чище, чем спиртом, протертым молитвой земной:

Стал он, как голубь, а только что был, как ворона.
И добродетелью римскою дышит сплошной.



Складки расправил, прочистил остывшее горло.
О, что за шум, что за клекот во имя творца!
Райская горлица крылья над ним распростерла.
Пятый параграф, десятая строчка с конца.

Или я что-то не понял в загробном устройстве,
Свойстве молитвы, возможностях и беспокойстве
Иезуитского ученика, на ходу
Что-то бубнящего тихо в церковном саду?

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Никто не знает флага той страны.
В морском порту, где столько полосатых
И звездчатых, где синие видны
И желтые, и в огненных заплатах,
Его лишь нет. Он бел, как облака.
Как майская земля, такой он черный.
Никто не знает флага, языка,
Ландшафт ее равнинный или горный?

Никто не знает флага той страны,
Что глиняного старше Междуречья.
Быть может, все мы там обречены
На хаттское и хеттское наречья.
Никто не знает флага, языка,
Он запылен, как кровельщика фартук.
Пока мы здесь, пока твоя рука
Лежит в моей, что Иштар нам, что Мардук?

Никто не знает флага той страны.
Оттуда корабли не приплывали.
Быть может, в языке сохранены
Праиндоевропейские детали.
Что там, холмы, могучая река?
Кого там ценят, Будду или Плавта?
Никто не знает флага, языка.
Ни языка, ни флага, ни ландшафта.



Владимир ЛЕОНОВИЧ

БАТУМ

Тепла и сонна,
магнолия цвела
в объятьях лавра —
как Дездемона
в объятьях мавра —
благоуханна и бела.
На берегах Галактиона
июля мгла.
Фонарь последнего вагона:
ла-ла, ла-ла...

●

Вижу: давно идете
в гору стволы креня,
В добром вашем народе
не хватает меня.
Лес наброшен на горы —
плавной складки руно.
Марево — вечный город.
В городе том — окно.
Под окном спозаранку
тополь сходит с ума:
вся листва наизнанку —
не от ветра — сама.
Каменные ступени.
Ровные облака.
На краю терпенья
постою пока

●
От пологости хромею
черноморских берегов —
я нищу твою камею,
слышу гром своих шагов.

Год хромею — семь прямою —
восемь вижу наперед
как живу и костромею:
слово знает и не врет.

Слушаю — живу — не спору —
годы — восемь — вижу вглядь...
Вот камея: испол'ять
ветру, времени и морю...

●
Наклоненные серые плиты.
Оползанье и тяжкий разлад.
Бук растет, разделяя граниты,
как писали лет двести назад.

Корень скручен и в камень завинчен.
Подвинулись и дальше пошли.
В этой местности корень первичен
и вторична щепотка земли.

Стланник скрюченный — рожки да ножки —
из последних — легок на подъем —
сыт пригоршнею каменной крошки
и летучей росой напоен.

Жив — не этим, не камнем единым...
Оживают речения те
в яром ветре и в облаке дымном
на летящей во мглу высоте.

●
Пльви течением волокон,
упрямый камень обогни,
а чтобы вырваться не мог он,
опеленая, опелени...

Прости живучие оплетни,
в расселине укоренись
и лиственницею столетней
на всю долину оглянись.



Держись лохматою колонной,
разопираясь о персты —
одной-единой потаенной
и правой силой — красоты!

Да от нея же как от взрыва —
от явной — сохрани вас бог!
...И волокнистого наплыва
не разматается клубок.



Леонид ТЕМИН

ПРОГУЛКИ

Опасные места —
Мосты и переходы..
Жизнь может быть пуста,
Она другой породы,
Тогда, когда она
Идет через мосточки..
А на дворе — весна,
А на ветвях — листочки!

Венеция ли тут,
Москва или Тоскана?
А по весне цветут
Дубы или каштаны?

Да стоит ли смотреть,
Поскольку все едино —

Цветут они на треть
Или наполовину,

И где они цветут,
Взывая о доверьи, —
Быть может, даже — тут...
А кто они? —
Деревья!

Каштаны, липы, вяз,
Сирень (или — «бузeya») —
Ну, не цветут сейчас,
Так зацветут позднее.

Да! Зацветут кусты
Соцветьями густыми...
А может быть, и ты
Воскреснешь вместе с ними?

И ото сна восстав
(Кто ты? Откуда родом?),
Пройдешь по тем местам,
Мечтам и переходам,

Где в оный миг — Весна,
Где проступают ныне
Опасные места
Почти на половине,

Где нынешней порой
Себе мы души гложем,
Поскольку мы с тобой
Уже любить не можем,

Поскольку я и ты
Почти что незнакомы:
Кто я — не знаешь ты,
А я не знаю — кто мы..



ШЕСТАЯ ПОЛОВИНА

Зияющая седловина —
Как с пудинга проба снята.
Шестая моя половина
Пришлась аккурат на сюда.
В прогале сапфир на сапфире
Лежит недвижимо почти,
И я, не умея цифири,
Загнула персты до шести.

А мне б в пятерне утесниться
И не обсуждать тесноты,
Но шуйца воззвала к деснице:
Поди поучаствуй и ты!
Небось все писала, писала,
Меня же — гнала да гнала.
Ведь мы — не кремень и кресало, —
Я, веришь ли, изнемогла!

Десница моя, взвеселися,
Обильный поставь магарыч:
Тебя бы, когда не Тбилиси,
Задействовал кто бы опричь?
Среди черепицы и толя
Здесь реже встречается жесть...
Меж равными равная доля —
Ей-ей, половина и есть!

Десница моя неповинна,
Безвластна в душе-гольтепе.
Шестая моя половина,
Тбилиси, я верю тебе!
Пью чашу хлебком и заглазно
И вем, что десницей скреплю.

Кто скажет, что это бессвязно,
По тем я веки скорблю.



ПОДСТРОЧНИК

Дальнозоркому дали — что близи:
Дашь крюка, но спрямится верста,
Полновесное имя Тбилиси
Эта ярмарка носит спроста.
Залученная в город-игрушку,
Спервака небрегла я игрой:
Не хватилась — оставь-де полушку —
Над крутой толоконной Курой.
В прейскуранте немислимых лакомств
Не накушала я живота,
И меня пробирали, как лакмус,
Только красный да синий цвета.
Я ручаюсь за плод неурочный, —
То и радости, что не червив:
Он кондовый, как будто подстрочник,
Замордованный, как черновик...
Дальнодумному жизнь — эпопея.
Я ж за то уважаю судьбу,
Что стихами оплесть не поспею
Этот живорожденный сумбур.



Андрей ПЛАХОВ

В ПОТОКЕ

Нырнуть в пурпурную листву
неиссякающего пыла —
Воспомянать наяву,

чего не должно быть, но было,
И есть теперь, и будет впрямь
сквозная трещина сознания —
Кавказа ковкая медь
и точечных снегов зиянье.
Не поддавалась ни вовне,
ни внутрь литая дверь балкона,
Уже мерещился в окне
предсмертный хрип Лаокоона,
Но вмиг осыпалось стекло,
как отмирающие листья,
И в тело ринулось тепло,
объяв его, как шуба лисья,
Нырнуть в мохнатый воротник
седого склона, сдернув складки —
И памяти взрывной родник
вмиг заиграет на подкладке,
И чувства пенистый ручей
вольется в пламенные реки.
Два берега: один ничей,
другой — раскинут в человеке.
В потоке — лепет первых слов,
и немота чужезычья,
Убогой живности улов,
непониманья шея бычья,
Огонь и папоротник в нем
запечатлелись на изнанке.
Нырнуть в багряный водоем
и слиться с ним — как на чеканке.

●
Среди обветшалых от времени
книжных листов,
Среди почерневших от осени
высохших листьев
Я выслушать снова и заново
вникнуть готов
В жестокую суть не бумажных,
а жизненных истин.
О лиственно-книжная,
ветхозаветная пыль!
Каким омертвевшим от собственной
тяжести слоюм

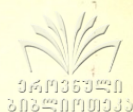


Покрыла ты райскую
 обетованную быль,
До коей мне плыть, и прослыть
 новоявленным Ноем.
Напомни о том, сколь непрочна
 надежда на миф,
Как губит наркотик езды
 по порочному кругу:
Пейзаж досконально изучен,
 но стоит на миг
Забыться — и вот мы
 фагально полярны друг другу.
И там, где дышали любовью
 живые цветы,
Остались обрывки обоев —
 листочки, цветочки...
Та женщина в синем пальто —
 без сомнения, ты,
Но только зачем оказалась
 в непройденной точке?
Стоишь среди поля, где столько
 лекарственных трав.
И порции хватит, сорви,
 протяни мне, разбудим
Мы прежний мотив, и характер,
 и голос, и нрав,
И больше друг друга
 уже никогда не забудем.
И что ж из того, что другим
 это будет дано,
В других воплотится способность,
 пылая и веря,
Прожить и за нас, и за тех —
 отлюбивших давно —
Цветка, и листа, и лица,
 и героя, и зверя.

ВОДЫ ЛАГИДЗЕ

А если в пролившейся капле тайлось зерно,
Молекула скрытого в недрах патента сиропа?
Ну что из того, что хозяин вернулся давно
Туда, где равны Оклахома, Тифлис и Европа?

Каким-то едва уловимым движеньем души
Настройся на вечно опасную вечную тему.
Судьбу искушай, исповедуйся, снова греши,
Будь ближе земле — а не книге, душе —
а не телу.



А если один несмирившийся призрак ума
Диктует каракули сопель, нероглифы плача —
Кричи, пусть его покарает проказа, чума,
Тебе же дана совершенно иная задача.

Легко оказаться внезапно и враз не у дел.
Магический круг очерти возле шаткой фигуры.
Наплюй на не слишком удачный житейский удел.
Судьбу не суди за характер мегеры и дуры.

Бедь если она затаила известный резон,
Как вечно несносная, нервная, злая супруга —
Вам вместе доигрывать свой театральный сезон
В капризном процессе перевоплощенья
друг в друга.

И это не значит, что вы воспеваете фальшь.
Таков уж характер приема, на вас патентован.
Да разве актеров вина, что в трагический фарс
Слагается исповедь слова и чувства простого?

●
За чашкой потянувшись через стол
С подобием смородиновой ветки,
Рука соединилась вдруг крестом
С протянутой рукой моей соседки.

Сподобился: хвативши через край
Горячего питья, густого хмеля,
Приемлю сей несовершенный рай,
Другую руку протянуть не смея.

Приемлю сей несовершенный ад
С неограниченным числом попыток.
Здесь хлеб пекут и варят шоколад,
И прегрешений заполняют свиток.

◆

ПИСЬМО

Пишу, не упоая на ответ,
о том, как предвечернею порою
мои глаза притягивают свет
во всех домах, нависших над Курою.

Пернатый город рвется из тенёт,
Все сумерек подергивает иней.
А между тем в душе моей растет
мысль о тебе, как ирис темно-синий.

Уже не прекослова и круша,
а только растворяясь благодарно,
спешит моя бездомная душа
вослед волне, мерцающей коварно.

А может быть, и впрямь пришла пора
с водой дремучей слиться до рассвета.
Меня давно влечет к себе Кура.
Что делать мне сегодня, посоветуй!

Но поздно, поздно. Улицы пусты.
Глухая ночь облюбовала склоны.
И страшно мне, что мир многооконный
взирает в темноту из темноты.



Я знаю — эту муж обманет,
и дочь с ней будет холодна.
Она качнется и отпрянет,
и не оправится она.

А этот — как над ним не плакать,
когда, продрогший и больной,
опять идет в ночную слякоть
и ежится один в пивной.

Мала для них любая помощь.
Переменясь в лице, они
опять уйдут в себя, и в полночь,
и в неподвижные огни.



У них не в правилах спастись.
Судьбу не обойти ни в чем.
Но можно с ними оставаться
к плечу плечом, к плечу плечом...

УЧЕНИК

Н. Д.

За то, что он вывел тебя за собою на гон
и сразу тебя приняла королевская стая,
ты будешь, седея, блости свой высокий закон —
быть верным и мчаться, на полголовы отставая.

И как ни катайся по снегу, и как ты ни вой,
ты все же не сможешь расслабиться ни на минуту
пред теми, кто врет, что ты слишком похож на него,
затем что от этого проще и лучше кому-то.

Когда вы бежите вдвоем, вас ничто не собьет.
Вам так хорошо, так свободно и весело рядом,
так неуязвимо, что прячет он горло свое,
когда ненароком с твоим повстречается взглядом.



Со стола, где убрано лишнее,
наблюдает за мною весь день
удивительная, притихшая
утешительница - сирень.

С рынка, мимо вспотевшей пивной,
унесла, завернув в полотенца,
заслоня рукой и спиной,
эту ветку с душою младенца.

А она, в повседневном бедламе,
где росла непристойно возня,

все темней наливалась слезами,
как глаза мои третьего дня.



Этих запахов анестезия,
как жару заступившая тень.
Целый год дожидалась Россия
утешительницу сирень.

И когда подступит большая
память, полная скрытых угроз,
эту ветку успею нашарить
и пустить до отказа наркоз.

●
Я плакала во сне и слышала, как дождь
походкой голубя царапает по жести.
Почтовый мой принес дурные вести.
И тяжелела сна мучительная гроздь.
А разбудил меня голодной крови всхлип.
И увидала я, охваченная дрожью,
как в комнату входил

высокий запах лип
и свечи зажигал у моего изножья.
И, как звонарь, мне кровь ударила в виски.
Но подняли меня дожда большие руки.
И расступился лес пылающей тоски.
И голосов возобновились звуки.
И покачнулась я всей памятью сквозной,
заметив среди толпы того, кого хотела.
Я плакала.
Душа пускала корни в тело.
И воскресение склонялось надо мной.



А. Каландадзе

У детских губ, у древних плит
 Роняет свет щепотку мела.
 И черный колокол молчит.
 И скорбь не отягчает тела.

За словом — тишина руки
 У остывающего горна.
 И жажда знает родники.
 И робость странная просторна...

РЫНОК В БОРЖОМИ

В дремотном пламени плодов,
 В лучах гортанного привета
 Сухие женщины Ладо —
 Приют терпенья, птицы лета.
 Владей лотками, рот израиль
 Кривыми зернами граната, —
 Но эта траурная ткань
 На лицах, солнечных когда-то!
 И эгот скованный испуг
 За тишину родного крова.
 И темень век, и тяжесть рук,
 И бремя времени слепого.
 Что шепчут горные ключи?
 Что есть судьба. И жаждут силы
 Дитя, и завязь алычи,
 И предков близкие могилы.
 Что дерзновенна высота,
 В которой время расколосось!
 Но песня счастья — немота.
 И только чуждым нужен голос.

1.

Кольцо ударит о засов.
 Блеснет железная скоба.
 Художник спустится с лесов.
 Художник вытрет пот со лба.
 Охватит губы сквозняком,
 Сквозь влагу, плотную как ртуть.
 И неф заполнится глотком.
 И струйка вытечет на грудь.
 Пока под шорохи молвы
 В притворе дня блестит река,
 Успеют запахи травы
 Всосать столпы известняка.
 На своды хлынет бирюза,
 И он зажмурится во мгле,
 И прежде чем писать глаза,
 Поймет, что лето на земле.
 Так где же, господи прости,
 Твое бесстрашное «хочу!»?
 Ступай с умением в горсти,
 Молись закатному лучу!
 Пока листаешь письма,мена,
 Срываясь двадцать раз на дню,
 Придут другие времена,
 И лики предадут огню.
 Но вновь под шорохи толпы
 Кольцо ударит о засов.
 И вспыхнут белые столпы,
 И зарастут до парусов!
 А в ночь приснится град велик,
 Иные страны и кремли...
 И будто он седой старик
 И просит красок у земли.

2.

Боже, не насилуй
 Душу без конца!
 Господи, помилуй
 Руку чернеца.
 Из дождей и суши

Вынесший хлеба,
 Господи, послушай
 Твоего раба.
 Я иду на плаху
 Родины моей.
 Я одет в рубаху

Белого белей.
Мне — шипы под ноготь
В хохоте зверья.
Я хотел потрогать
Волосы Ея.
Что в них — птичья стая
Или седина?
Кто Она такая,
Мать или Жена?
Улица крутая,
Вороны у ям.
Душно причитая,
Люди по краям.

Мажь что было силы.
Очи в пол-лица!
Господи, помилуй.
Руку чернеца.
Сына или мужа
Крест не отличит.
Только почему же
Колокол молчит!?
Лица в пыльном гриме.
Скужа до бровей.
Не забудьте имя
Матери моей...



3.

От незадачливого метра
Пройдет дорога до холма,
Где наши руки — арка ветра,
А наши волосы — зима,
Где червь с миндальными глазами
Ведет по небу борозду,
И смерть счастливыми слезами
Встречает каждый день в году,
Где летом искренняя птица
Творит гнездо в траве имен...
И наше время расслоится
Под тяжкой поступью времен.
И лишь тогда своей основой
Нас потрясет безгневный Спас.
И наших тел приют сосновый
Иным глубинам вверит нас,
И мы пойдем путем единым,
И «я» без боли отдадим.
И каждый снова станет сыном
Своей души — собой самим.
И каждый, обрета начало,
Увидит из безмерной тьмы,
Что «я» и вовсе не бывало!
А было — мы. И будет — мы.



●

Что за мука — до самого детства,
до тебя, до любви, до основ
расстоянье от сердца до сердца
измерять единицами слов?
Муза нищих груба и ревнива,
потому-то неровно, вразброс
приближается зона ирилива,
притяжения звуков и слез.
Виснут влаги сырые волокна,
ход волны, как и прежде, не нов —
нас не ждут акварельные окна
на сырой штукатурке домов.
Все, что свыше, по капле разделим,
чтоб унять сквозь молчанье и всхлип
в серых зарослях потных растений
шевеление розовых рыб.
Осень делает доброе дело
и заботится, как ни о ком,
там, под деревом, — тело и тело
осеняя своим плавником.
Залрещается прошлое трогать,
влажным пламенем мы сожжены,
только плаваем — в листьях по локоть —
на короткой волне тишины.
Очергания жизни размыты,
но повсюду во славу ее
в неустойчивых формулах быта
утверждает себя бытие.

●

Волнистый берег, голубая галька,
большие чайки, волны и песок,
базар, похожий на полотна Фалька, —
там пьют вино и виноградный сок.

Спешат хозяйки в овощные лавки,
где продается всяческая снедь,

рзая в спешке шпильки и булавки,
а позже птицы начинают петь.



Но предпочтем пейзажи натюрморту,
написанному в розовых тонах,
чтоб море разом хлынуло в аорту
и яблоко качало на волнах.

Оно тобою овладеет властно,
благословив на муки и труды...
И все же наше ремесло прекрасно,
как голубое яблоко воды!

ИЗ ЦИКЛА «ЗВЕЗДА В ГОРСТИ»

1. ПОЭТУ

Вот слово, монолитней, чем утес,
омытый кровью, влагой, кислородом,
стоит и ждет, что ты — каменотес —
накопишь силы наравне с народом

и сможешь ранить каменную плоть,
проникнуть в жилы, в мраморную мякоть,
и звуки благородные колоть,
и, зубы сжав, — работать, а не плакать.

Закат суров, суглинок сух и тощ,
как вены камня, проступают строки,
ты из гранита высекаешь мощь —
простолюдин, подавшийся в пророки.

И голос правды в камне и воде
течет потоком крови в бесконечность...
Ремесленник, не думай о беде —
твою работу принимает вечность...

2.

В кувшин лилось вино и раздавались крики,
и пласт сухой земли угрюмый вол нахал,
жуки сосали сок из спелой земляники,
во тьме вишневый лист, как лавр, благоухал.

Пергаменты земли, ее тугие свитки
читали по складам то пахарь, то пастух,
ползли по строкам дня рогатые улитки,
растений имена произносили вслух.



Растений имена — преддверие нирваны,
где каждый гласный звук был свеж и серебрист,
и были вечера, как лавр, благоуханны,
благоухал, как лавр, во тьме вишневый лист.

Летали в тишине шершавые стрекозы
и воздух тонок был от частого мытья..
Среди сплошных дождей теряли запах розы
и вдавливали крик в пергамент бытия.

Кузнечик и поэт, приверженец науки,
профессор бытия, природы бакалавр
пергамент развернул и взял природу в руки,
чтобы вишневый лист благоухал, как лавр.

И ягоды лежат на листьях ворохами,
в их алом мясе сок напоминает кровь,
а я иду на риск — я исхожу стихами,
чтоб лавр благоухал, как вишня и любовь.

3.

Там, в звериной норе, где печальная тварь
пьет, как яд, твоего словаря киноварь,

зреет шпат полевой и цветет сердолик,
и воистину мир песнопений велик!

Нас ведет гениальный крылатый народ
по ухабам и рытвинам горных пород,

а в долине, внизу, за забралом оград,
слов янтарных и алых созрел виноград.

Что ни слово — то крик, что ни слово — то стон,
и прекрасная явь превращается в сон.

Но орлида на крыльях своих унесла
речь мою и секрет твоего ремесла.

Мы за нею летим среди гор, среди туч,
и тяжелые камни срываются с круч.

Водопадов гекзаметры, ямбы долин
мы опасным небесным огнем опалим.

Протяни же мне крылья, виновник огня,
сквозь сияние слов посмотри на меня!



Лега праздничные вехи,
на сухой воде круги —
вишни, яблоки, орехи
и с малиной пироги.

Дышит жаром захолустье,
ежевика копит сок,
и река, мельчая в устье,
углубляется в песок.

Двигет рыба плавниками —
я словечко ей скажу
и возьму ее руками,
и в корзинку положу.

Из плотвы сварю ущицу
и, заплавав, оборву
весь чабрец и всю душицу,
богородскую траву.

Для приправы, для отравы —
кто поест — тот и жених,
я лицом бросаюсь в травы,
я целую в губы их.

Лето, лето, что с тобою?
И у самого лица
всходят звезды зверобоя
и созвездья чабреца.

Смысл неясен, буквы четки—
жизнь со смертью посередке
мы глотаем наяву...

И сосед по даче спросит
(как он слово произносит!):
«Ты живешь?» — «Пока живу».

«Как живешь?» — «Белье латаю,
день за днем подряд глотаю,
пищу, скудную варю,
то воюю с керосинкой,
то с соседкой нашей Зинкой
по-французски говорю.

А она меняет блузки,
отвечает мне по-русски,
пишет длинные стихи
на пороге жизни грозной.
И полощет шелк вискозный,
отпуская мне грехи.

И душа ее смеется,
а под блузкой сердце бьется,
а в ее черновиках
процветает гениальность
без поправок на реальность,
без мозолей на руках...»

ОСЕННИЙ ОГОНЬ

1.

Дождь, разъявивший пространство на звуки!
Как твои зацелованы руки!

О, как воздуха влажны пласты
под устами кленовой листвы!

Поцелуями время объято,
влажным пламенем осень богата,

и высокие волны огня
обнимают тебя и меня.

Огонь течет по жилам октября,
 листва суха и взрывчата, как порох.
 В наплывах влаги видимо не зря
 трепещет взгляд и вздрагивает шорох.

И стаи птиц — подальше от греха —
 летят туда, где им дано забвенье,
 где разноцветных листьев вороха
 сулят не стон, а золотое пенье.

А мы с тобой идем по склонам гор,
 и столько верст разлуки между нами!
 Но ты разводишь в воздухе костер —
 а на ладони принимаю пламень...

Природа в упадке. На яблоки взвинчены цены.
 На пестром базаре мешаются хохот и брань.
 Герои-любовники чахнут и сходят со сцены
 и в душной провинции мирно разводят герань.

Уходит Антоний, рыдает его Клеопатра.
 Рабочие сцены включенным оставили свет.
 В осеннем пейзаже, как в призрачном мире театра,
 уже ни суфлера, ни вечного зрителя нет.

Но мы выживаем. И снова под сводами зала,
 где свет непрерывен, а день укорочен на треть,
 случаются драмы, где страсти такого накала,
 что птицам, как людям, приходится плакать и петь.

И влагою в почву уходит в Поэзию проза,
 чтоб встретились в слове бумага, душа и перо.
 И воздух осенний, как тонкий смычок виртуоза,
 на брошенной скрипке сыграет тебе «Болеро».



В Емельяновском районе Красноярского края выходит газета «Ленинское знамя», которая одну из своих субботних литературных страниц (23 января 1982 года) посвятила отклику на прозу А. Цыбулевского, помещенную «Литературной Грузией» в рубрике «Свидетельствует вещий знак...» С небольшой редакционной вводкой газета напечатала статью красноярского поэта Николая Еремина, а затем подборку из книги стихов А. Цыбулевского, которому и посвящена статья. Весной того же года Николай Еремин побывал в Тбилиси, ставшем ему близким через грузинскую поэзию и творчество сроднившихся с Грузией русских писателей. Так родился новый цикл поэта «Лист виноградной лозы», публикуемый нами вслед за его же статьей из «Ленинского знамени».

Николай ЕРЕМИН

«Не хватило бормотанья?»

ДУМАЮ, не ошибусь, если скажу, что ключом к пониманию художественного произведения является его заголовок, название.

«Не хватило бормотанья» — тоже ключ. Но ключ загадочный, как золотой ключик в руках Буратино. Где та дверь, тот замок, к которому он подойдет? Что — за дверью?

Александр Цыбулевский знал — где и что. И поэтому он умело вел читателя по лабиринту ассоциативных ходов памяти, путем, знакомым только ему. Вел, чтобы привести к заветной двери и чтобы познакомить спутника тем временем с собою, проводником, рассказать о самом сокровенном, найти понимание.

Поэт — проводник. Поэт — пророк. Почему он всегда жаждет понимания? Почему он снова и снова ведет нас до-

рогой стихов и прозы, дорогой, по которой уже не раз прошел сам, но идет как впервые... Не потому ли, что его тогда не поняли, или не захотели понять?

И вот иду, иду сквозь стены,
За ними я когда-то рос...
На чистом бархате арены
Закружится мусоровоз.

Что он увозит, почему
За ним спешат, как ливень хлесткий —
Неумирающие блески
В неумирающую тьму?

А номер вовсе не смертельный,
И пуст томительный испуг.
Он лишь за кругом чертит круг
Неотвратимый и бесцельный.

Образ цирка помогает А. Цыбулевскому объединить фрагменты путешествия, как образ театра помогал А. Толстому. «За кругом круг, за кругом круг» — развивается действие в цирке. Жизнь внутренняя — слова, и жизнь внешняя — поступки людей. Персонажи и сцены сменяют друг друга: лица, жесты, звуки... Какие из них наиболее важны для спутника и проводника?

«Очень уж хочется когда-нибудь войти в цирк вместе с Межировым...» — говорит поэт. Почти шепотом. Почти неслышно. Даже в скобки заключает сказанное. Как бы извиняясь: проговорился. Невольно вырвалось.

И опять дорога. Цирк. Рынок. Детство. Волшебная лавка медника. Рынок потом снесут. Медную посуду объявят вредной и переплавят в гильзы.

И вдруг опять больное:

«Я с Межировым. Пустой стадион. Зеленое-зеленое поле. Ваша поэма распалась, говорит он, ее нужно собрать, а для такой, какая она есть, ей не хватило бормотанья.

Не хватило бормотанья.

Межиров произносит мой высший суд надо мною».

И дальше в пестром, густом тексте еще одна оговорка:

«...ты сам свой высший суд».

Самовнушение.

Нетрудно представить себе состояние поэта, ^{которого} старший товарищ, мастер, не может или не хочет ^{понять,} с которым не может или не хочет «...войти в цирк ^{вместе?»} «Не хватило? Бормотанья?» — идет поэт, уже один, и повторяет, повторяет... Навязчивый вопрос. Который обязательно должен потом подразумеваться в ключе, в названии нового путешествия. Путешествия-утверждения.

Хватило. И не «бормотанья».

Александр Цыбулевский давно уже чувствовал себя мастером, наравне с другими мастерами, и вот он — в который раз — хочет, пытается доказать это. Он хочет доказать и доказывает, что в совершенстве владеет действием и покоем, мыслью и чувством, музыкой и светом.

Есть такое выражение «купаться в образе». А. Цыбулевский всю жизнь писал поэму-симфонию.

«Не хватило бормотанья?»

Он умело вводил голоса и подголоски и, маскируя, приглушал — намеренно — тему самостоятельности и неподсудности.

«Межиров: Это вы про меня написали песню о Ваньке Морозове?»

Булат: Нет, это я о себе».

Поэт в цирке — и автор и исполнитель. Он позвал нас — читателей и зрителей — в дорогу.

Мы шли рядом с ним, видели и слышали, как он «за кругом круг» бормочет строчки новых стихов, пытаюсь растолковать нам, откуда они берутся, как возникают, для чего, «из какого сора» растут...

Он уходит... Кажется, что навсегда. Но — нет. Вот уже и я бормочу, бормочу стихи, посвященные его памяти:

Ты в центре праздничной арены...
Уже от сердца отлегло,
И происходят перемены —
Так незаметно, так легко.
Уже ты счастлив и послушен
И, нравясь самому себе,
Ты хочешь стать любимым мужем,
Наградой в чьей-нибудь судьбе.
И лампы светом полыхают,
И темнота насквозь видна,
И сверху музыка вздыхает,

Тебе сочувствует она,
Твои слова почти бессмертны,
Совсем понятны и просты,
И ловишь ты аплодисменты,
Чуть-чуть увядшие цветы.
Еще глаза людей сверкают...
Но так легко тебе в ответ
Сначала музыка смолкает,
А вслед за нею гаснет свет.

Представление - путешествие закончилось. Мы все видели и все, кажется, слышали. Но удалось ли нам постичь полифонию образов, тайну творчества, тайну бормотанья?

Вот ведь — и ключ был, и сам поэт вел нас к цели, вел открытый, увлеченный всемирным трагизмом взаимного непонимания...



ЛИСТ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ

И, миновав тбилисские дворы,
Их вечные невзгоды и утехи,
Застыл и я на берегу Куры,
Где возвышается собор Метехи...
Там, под скалою, мутная Кура
Звала меня, бурлила, волновалась...
Увы, но в ней ничто не отражалось —
Ни город, ни весенняя пора.
Текла Кура, бессмертная в веках...
Но видел я, как время замирало
Перед Мтацминдой, спящей в облаках
Среди теней из камня и металла.

ГРУЗИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Вдоль дороги зеленеет виноград
И пасется стадо маленьких ягнят.

И старик с огромной белой бородой
По тропинке не спеша идет домой,
Мимо кладбища — на фоне белых гор —
Он, задумчивый, идет — спокоен, горд.
Мимо замков, мимо древних крепостей,
Сам — легенда, сам — источник новостей...
Вдоль дороги созревает виноград.
И старик идет — себе и людям рад.
К дому следом, среди гор — и там и тут
Сыновья и внуки гордые идут...



Бессмертия скупые знаки
И славы щедрой фимиам...
Мы опоздали к вам, Акакий,
Илья, Паоло, Тициан.

Вчера взошли, вчера завяли
Слов вдохновенных семена.
А на границе сна и яви —
Лишь имена, лишь имена...

Нам встретиться так было нужно!
Мы одолели даль земли.
Но — опоздали... Потому что
Без провожатого пришли.



Я и в музее и в духане
Люблю медведей Пиросмани
За то, что в доброте своей
Они похожи на людей.

Пока живой вдыхают запах,
Пока стоят на задних лапах,
Пока величие хранят
И цепью изредка гремят.

Пока вокруг невиновато
На воле бродят медвежата.
Пока стрельба не началась
И мирно пьют слуга и князь,

Я и в духане и в музее
Сижу, хожу, на них глазае,
Покуда в доброте своей
Похожи мы на медведей...



●

О, как прост,
О, как зелен и чист
Каждый лист
 виноградной лозы.

О, как живуч
 каждый куст

В каждый миг —
От грозы до грозы!



Ян ГОЛЬЦМАН

СЛОВАРЬ ОЗЕРНЫЙ И РЕЧНОЙ

Озеро Пелус да озеро Пял,
Озеро Кулгом да озеро Лемчин.
Тщетны старания — Митька прят! —
Нам объяснить имена эти нечем.
Десять столетий не гаснут они.
Бездну печали таят топонимы.
Угры и финны — гони, не гони —
Вечно пребудут, водою хранимы.
Ладога, Водла, Печора, Двина...
Кости истлели в песках побережий.
Память — в глубинах, у самого дна.
И не идет в невода и мережи.
...Озеро Пелус смотрит в окно.
Горлом гагары воют глубины.
Сумрак в глубинах, но светится дно
Луд¹ каменистых и плесов рябиных.

¹ Луда — подводная отмель.

Кулгом — и лебедь ударит крылом,
Лемчин — и язь заколышет осоку.
Пял — и сорога пойдет напролом,
Норочьи семьи вырастут к сроку.
Кто он, творец незабвенных имен,
Вверивший водам остывшее сердце?
Это наследье многих племен
Или слова одного рунопевца?
Пращур, о многом душе говорят
В этом просторе озерном и гулком
Воды — слова твоего словаря —
Водла и Пелус, Лемчин и Кулгом.



НА ВЕРШИНЕ ДЕМЕРДЖИ

С моря надвигается мгла.
Осень обретает права.
Скатертью равнина легла —
Плотная овечья трава.

Выкормыш пропавших отар,
Жирный черкозем перекрыл
Тропы голосистых татар,
Камни генуэзских могил.

Надают в траву семена.
Тихо и свежо, как в лесу.
...В трех шагах — отвесом — стена.
И орлы на скалах — внизу.



На грани, на черте, на рубеже —
На берегу озерном и пологом:
Налево — лед, незыблемый уже,
Направо дышит, чуть не под порогом,

Глубокая декабрьская вода,
Которая никак не остывает,
Гремит кольцом разломанного льда
И смертницу крылатую вздымает.

Зачем не улетела в сентябре,
Когда другие чайки улетели?
Им хорошо: они теперь в тепле.
Ты — доживешь ли до конца недели?

Не знает, в чем беда твоя, вина,
Но понимает неоглядность леса,
Зачем неукротима глубина
И отчего вода черней железа.

Вновь северик поет на все лады.
А доживет ли до угрюмой рани
Железный круг неистой воды
У берега, на рубеже, на грани?

СИНЕВА

Какие синие места:
Рассвет в снегу — держава синяя.
Какая сильная звезда!
Такой бывает только зимняя.

Какой крутой и светлый круг
На синеве горит малиново.
Обидно, что не видит друг
Рассвета синего, былинного...

Не слышит хрусткой тишины,
Не видит сосен в синем инее.
Невыносимо без жены,
Без синевы — невыносимее.

Какие синие места,
Какая сильная звезда
Льет на снега сиянье зимнее!



●

Я по-грузински говорить хотел,
но морю слов, быстрее легкой лани,
взвился над свитком наших бранных тел,
как запах первых строк «Давитиани».
Я видеть моря Черного не мог.
Скитался я. Я был тогда далече.
Церковный, полный света погромок
я возносил на гор крутые плечи.
Косых лучей узнал я первый стук
о своды храма ровные. И все же
я был внизу, где рос слепой бамбук,
покинув почвы девственное ложе.
Ему знаком суставчатый закон:
(на остов нижет плоть косою племя),
держа в узлах часы и камертон,
чтоб пить музыку в сумрачное время.
Но боль ростков еще была свежа,
еще был молод первый слог. И носок
прямых речей держал в горсти Важа,
стукая по камням в едва созревших росах.

●

Как можно говорить о чувствах,
когда бесчувственны слова
в пространстве горнего искусства,
где дышат ветер и трава.
Деревьев сумрачные взоры
дробятся в правильности сфер.
И только горы, горы, горы
не ощущают свой размер.
Они свое умножат тело,
времен избородив чело,
во Мтквари бросив гроздь мела,
а в Верэ легкое число!..

Когда пространство топит печи,
царит совсем иной закон.
В ночи свечей мерцают свечи,
а днем пылает Орион.



Где качается тополь,
ты под вопли воды
входишь в пенный акрополь,
заметая следы.
Твоя тень словно карта
ляжет круто на дно,
где державная Картли
держит в недрах вино.
Ты уходишь, однако,
к наковальне небес,
словно к лестнице Иаков,
потерявший свой вес.
И безумия ради
оставляешь в горах

крылья, перья, тетради
или пух, или прах.
Так по мареву жизни,
как по кромке ножа,
ходит с пира на тризну
мой мучитель Важа.
Бредит Пшавия справа,
где две влаги слились,
но шальная отравы —
плещет крыши Тифлис,
и латая прорехи
продувных тополей,
смотрит в небо Метехи,
где повис Водолей.

Когда свинцовый лес стоит как интеграл,
когда словарь древес откроется для чтения,
я чую жар небес. И сонных вод провал
суммирует ручьи в рокошующие звенья.

Умножив тлен долин в дюливиальный плен,
раскроются вокруг нагорий шатких двери.
Здесь кровь моя кипит и капает из вен,
и звон, войдя во храм, бурлит, как в недрах квеври.

Коль восемь есть ладов, коль есть десятков вин,
коль их тавро хранит торжественную смуту
иного бытия, мне виден низкий нимб
над лбом поющего в текущую минуту.

Как дорог этот мир, где утро пьет туманы
на скатерти долин. Полей раскинув карты,
стакан земной крови сжимает Пиросмани,
когда обходит круг твоих просторов, Картли.



А ночь была смятением объята,
накрыла пятернею храм Баграта,
как будто он был в чем-то виноват.
Торжественным числительным одета
его окон расколотая мета,
и пряди каменные спущены до пят.

Здесь пуп земли, а также ночи темя.
Все спать легло, уснуло даже время,
когда сходил с ума один чудак.
Он усомнился в зрелости гранита,
когда его поцеловал в ланиты,
в горбатый профиль, в губы натошак.

Тревожно гладил каменное чрево,
беременное зодчеством, как древо,
творящее само себе столпы.
Рыдал от бесталанности косматой
и в брызге ночи — злой и коздреватой
руками мял алгольные снопы.

О вьючный мул, звездами запаршивлен,
гранитный дождь похож на звездный ливень.
О табор камня в шалах соляных,
пляши и пьалься дико на пришельца,
одышкой грузной грозно в лоб прицелься,
а там играй себе на серьгах слюдяных.



Гора надо мною клубится и вьется,
и свет пахнет морем и плещет, и льется,
о легкая тяжесть. Но впрочем о том
поведаю кручам. И тяжкие камни
ответят мне ямбом, похожим на гром.
На небе жестяные сомкнуты ставни,
и голос мой, словно квадрат или ромб,
бормочет слова перекошенным ртом.
Я петь разучился. Ночные ветра
со мною беседу ведут до утра,
и прозу свою открывают мне росы
о почве и недрах. Но слушать нора,

как в небе о травах скорбят альбатросы
и небо оплакать не может кора.
А я потерял в том краю папиросы
и спички рассыпал. Пора мне, пора
Туда, где над морем сияет гора.



Роберт ВИНОНЕН

ТВОЯ ЗЕМЛЯ

Твоя земля взволнована:	Твоя крутая Грузия,
Горами ищет неба.	Твоя земная стать —
Уводит высоко она,	Моя наука грустная,
Глаза туманит нежно.	Что неба не достать.

КАМЕНЬ

У нас под башмаками	О жесте вон из пашчи,
О чем мечтает камень,	О месте в сванской башне,
Годами и веками	О пропасти ближайшей,
О чем мечтает он?	В которую влюблен.

ГУРАМУ ЧАГИАНИ

Ты лети, душа, к вершинам,	Тем, кто выгладит сурово,
Падай с водопадом!	Но живет красиво,
Трудно финну быть грузином,	Кто своими свел руками
Но стараться надо.	Зелень со снегами,
Надо, надо приложиться	Кто построил дом из камня,
И к вину, и к хлебу,	Но душой не камень.
И хоть раз подобно птице	Расскажу когда-нибудь я
Пригодиться небу.	Жителям равнины,
В облаках услышать слово	До чего же эти люди
И сказать спасибо	К высоте равнины.



16 0353 20
510-1111133

Я скажу, что лечат горы
И печаль, и робость
И что плеч не дают годы,
Сброшенные в пропасть,

Что и мне, ступив на скалы
Довелось немного
Побеседовать по-свански
С господом богом.

ТВОЙ ГОЛОС

Как люблю я холмы и равнины,
По которым твой голос бежит,
Поворотами ночи хранимый
И дождями ловимый навзрыд.

Ветром осени сносится голос,
Но и самый кривой километр
На восток и на запад расколот,
А ни юга, ни севера — нет.

Станет все, что мы скажем другу другу,
Речью речек и ропотом рощ.
Полумесяца белую трубку
Подымает глубокая ночь.

И пока мы на общие звезды
Смотрим всяк из своей темноты,
Верю я, что добром отзовется
Мир, который озвучила ты.



Дружбе Егише Чаренца и
Тициана Табидзе посвящаю.

Гортанный звук грузинской речи
как бы отлит из серебра,
а пальцы у грузинок — свечи
во имя ласки и добра.
Когда народу было туго,
его спасали меч и щит,
когда же щит бывал пробит —
письмен нетленная кольчуга...
Я слышу: плуг народной песни —
за кругом круг, за кругом круг —
распахивает в поднебесье
клочок души своей, чтоб друг
мог преломить с ним радость слова
и всех отпущенных щедрот,
чтоб человек отведал снова
беседы ароматный мед...
Легенды гор возводят замки,
а нашей памяти дано
не забывать, что здесь руно

Вот уже 25 лет я именую Ашота Сагратяна своим другом. Когда мы познакомились, оба были студентами кафедры художественного перевода Литературного института им. Горького. Ашот писал стихи, переводил армянскую прозу и поэзию. Спустя несколько лет активной работы в литературе он сам стал руководителем творческого семинара будущих переводчиков, и многие из тех, кто ныне трудится на этом благородном поприще, на-

зывают его своим учителем. Он не только учил переводить, он переводил сам — книги известных прозаиков Армении, а также поэтов.

Я не удивилась, увидев колоритную фигуру Ашота на экране в фильме «Братья Сарояны», как не удивилась, узнав о том, что сейчас он занимается росписью по фарфору и по тканям.

Последние годы Ашот не только пишет стихи —



в доверье вправлено, как в рамку.
Из романтических племен,
творивших гордый дух Кавказа,
грузины дали сто имен
для героического сказа
о временах, когда народ
могуч был тем, что знал соседа, —
тогда давалась им победа
и обходил их недород..
У нас в дому кинжал грузина —
булат в чеканном серебре.
От деда. Память о поре
братанья с другом-армянином.

●
Мелькает осень за окном вагона,
колеблет воздух призрачную грусть,
и я запоминаю наизусть
неповторимый образ перегона.
Листает глаз леса и перелески,
в бокале дня янтарное вино.
Как много лету бабьему дано! —
Рубин рябины, вкрапленный в подвески,
струит тепло, и этот мягкий свет
напоминает мне свеченье фрески,
а перелетов птичьих арабески —
те письма, ключа к которым нет.

он их рисует. Рисует свой венок сонетов, букеты, гирлянды строк. На выставках живописи и графики А. Сагратяна — а их уже было несколько — мы попадали в мир поэзии. Нас окружали портреты Чаренца и Маяковского, Достоевского и Бальмонта, Антокольского и Леонида Андреева. Ашот рисует портрет души. Нужна ли такому художнику — модель? Или достаточно стихов, достаточно судьбы? Сейчас он работает над портретом Тициана Табидзе, и я с

волнением жду встречи с любимым поэтом.

Портреты, цветы и деревья — мир Ашота Сагратяна, возможно, запомнится тем, кто смотрел репортажи Центрального телевидения, посвященные его многогранному творчеству.

Я рада представить читателям «Литературной Грузии» стихи Ашота Сагратяна, проникнутые духом истинного патриотизма и интернационализма, дышащие любовью к Армении, России и Грузии.

Анаида БЕСТАВАШВИЛИ

Давайте развеем туман наступающей ночи,
и дымку невнятных событий давайте развеем.
Давайте послушаем, что мы себе напроорочим,
а значит узнаем, что мы под судьбой разумеем.

Глядите — грядущее — вроде дыра иль прореха.
Возможно, но там заплетаются вещие нити.
Вы слово скажите — оно отзовется как эхо,
и снова скажите — оно отразится в событьи.

Но прежде, чем вымолвить слово, что нас околдует,
давайте забудем о жизни своей недалекой.
Давайте спросим, чем ветер пронзительно дует,
куда смотрят звезды, о чем знает куст кособокий?



Гелий АРОНОВ



Георгию Цабадзе

Пока у песни крылья есть,
пока душа ее жива,
Кавказ мне посылает весть,
и мне слышны твои слова.
Они, как вестники добра,
приходят на берег Днепра.
Жизнь сделана на черновик,
и все ошибки на виду.
Теперь бы за единый миг
отвел и горе, и беду.
Теперь бы за единый миг,
чего не понимал, постиг —
истоки радостей и бед..
Но мига нет,
но мига нет.

О Т Ц У

Я не знаю, где твоя могила —
 в сорок первом не было могил.
 Трупы в поле вьюга заносила,
 горький пепел ветер разносил.
 Ты исчез, рассеялся, растаял.
 как морозный ищей на окне,
 даже похоронки не оставил,
 без вести пропавший на войне.
 В поле, где война тебя подмяла,
 столько лет то пашня, то жнивье,
 но во мне живет твоя усталость,
 боль твоя, молчанье твое.
 Я тебя и старше и сильнее,
 весь в заботах — служба и семья,
 отчего ж мне с каждым днем больнее
 смерть и жизнь недолгая твоя?

НА ВОКЗАЛАХ

На вокзалах запах беды,
 на вокзалах запах войны,
 а на лицах ее следы
 через столько лет все видны.
 Кто-то спит в углу на узлах,
 кипятка нигде не найти,
 и ползет липкой змейкой страх:
 мама может отстать в пути.
 Вот сейчас оглушит нас гром,
 закружит взрывная волна,
 все топча стальным сапогом,
 загремит по рельсам война.
 Сколько б ни утекло воды —
 на вокзалах нет тишины,
 на вокзалах запах беды,
 на вокзалах запах войны.

САД МУШТАИД

Ну вот и хватит. Пожил для себя.
Почти во всем дошел уже до точки.
Что было — не было, раз было без тебя,
и в сторону права на проволочки.
Оставь надежду на покой земной,
забудь эфир своих стремлений книжных.
Взгляни — вокруг тебя разгар иной:
сад Муштаид и запах мамальжкий!
Как сладок дым, как радостен гудок!
Скрипят вагончики дороги детской...
Из всех непройденных и пройденных дорог
дороже всех — тот двор замоскворецкий!
И над рекой ладони я разжал
И замер, как кормилица над зыбкой.
Кто мне поручится, что все, чем я дышал,
-- не стоит детской праздничной улыбки?!

БОТАНИЧЕСКИЙ САД В ТБИЛИСИ

Ах, куда же мне деться от запаха пыли?
В Ботанический сад! В Ботанический сад!
Отчего же опять те же раны заныли?
Оттого, что не будет дороги назад!
Оттого, что есть среднее между разлукой
и меж смертью,
затем, что еще не привык
упиваться тоскою и смертною мукой
и прокусывать кровью дымящий язык.
Пропадай она пропадом, наша добыча!
Забирайте и рвите, давитесь, рыча!
Лишь бы было спасенье от зычного клича —
не на жизнь — так на год,
не на год — так на час!..
Неужели мне вечно хвататься за сердце?

Оголенные всюду хватать провода?!

Ах, куда же мне деться?

Куда же мне деться?..

— Никуда, дорогой!

Ни на час никуда!



Лариса ФОМЕНКО

МОЕ ИМЯ

Грузии...

День, незыблем, тяжел, обтекаем,
Над горами висел устало.
Драгоценным искрящимся камнем
Солище в каменном небе играло.
Обесцененным камнем был дом —
Древних духов забытой могилой.
Точно высохший глиняный ком,
Я чужую печаль проглотила,
Приложила, как камень, ладонь
К стенам, тем, что казались чужими.
Чтобы высечь из камня огонь,
И тогда ты назвал мое имя.
Слово было пугающе ранним.
Я ждала, что оно станет камнем
И ударит, прорвав тишину,
По нефритовой кроне сосну.
Только вдруг почему-то не стало
Тишины, что застыла опалом:
Растворились, растаяли пеной
Оболочки, ограды и стены,
Что казались недавно чужими,
И ты снова назвал мое имя!
Был огромен, широк и несносен
Свет зеленый раскованных сосен,
А глаза твои были такими...
Что ты снова назвал мое имя.
Ты так властно сказал это слово,

Словно вдруг создавал меня снова.
Ты сказал его строго и твердо,
Словно вел меня в прошлое, к мертвым,
Твоим предкам, чтоб стали моими,
И ты снова назвал мое имя!
Ты назвал его нежно и тонко,
Словно внес меня в список потомков,
Что блаженно мерцали вдали.
И казалось нелепым и странным,
Как, скитаясь по землям и странам,
Я не знала, что родом из этой земли
Обетованной...



ПОЭЗИЯ БЕЗ СЛОВ И МУЗЫКА БЕЗ ЗВУКОВ

Гие Надареишвили

Над шахматной доскою — тишина.
Фигуры смотрят деревянным взглядом,
Их кукольная прыть всегда смешна
Для незнакомых с таинством обряда.
Но это не игрушечный парад,
А пантомима неуслышной мысли.
Загадочен простых движений ряд,
Астрально строг, космически бесчислен.
Тут мысль живет отдельно от творца,
Переселяясь в наивные фигуры,
Пластична от начала до конца —
Так музыкой полна клавиатура.
Без звуков музыка — этюда феномен.
Мелодия то медленна, то бурна:
В ней слышатся Рахманинов, Шопен,
Романтика экспромта и ноктюрна.
Но это и поэзия без слов —
Гармония ума и оптимизма,
Ведь вспышки неожиданных ходов
Несут парадоксальность афоризма.
Над шахматной доскою — тишина.
Ах, творчества нелегкое блаженство!
Прислушайся, как мысль напряжена
В борьбе за красоту и совершенство.

КАК МЕНЯ ЛЕЧИЛИ ОТ БЕССОННИЦЫ



Не расколоть скалу волне
И Солнцем не бывать Луне,
Как ей в ночи ни розоветь.
Закрой глаза, чтобы прозреть.
Забудь про прежнее житьё,
Не верь, что ты имеешь всё.
Тебе останется для сна
Лишь мысль
О том, что ты одна
И не видна,
И не слышна,
Кому-то что-то
Не должна,
И без заслуг, и без вины,
Как этот нищий у стены.
Представь себя такой —
Тогда придет покой.
Закрой глаза, чтобы прозреть.
Своя у каждой рыбы сеть,
Кому же в сети не попасть,
Того найдет акуля пасть.
А в небе звезд вокруг не счесть,
Но звезды сторожат мечеть,
И не узнаешь все равно,
Что нам дано и не дано.
Забудь про прежнее житьё,
Поверь, что ты имеешь всё,
Как тот, кто вдоух за весь наш род
Счастливым самым прослывет,
Как тот, кого сквозь сердца дрожь
Несчастливым самым назовешь.
Тебе останутся для сна:
От чьей-то смерти — тишина,
От чьей-то жизни — страшный миг,
От чьей-то веры — целый мир,
От вечности — покой.
Представь себя такой.

КУДА УЛЕТЕЛИ ФЛАМИНГО?



ИЗ ПЕМЕНСКОЙ ТЕТРАДИ

В белом заливе утром бродили птицы,
Розовые, как память о свете заката.
Память не знает,
Что такое утрата,
Не знает, как бывает непросто проститься
С красотой,
Промелькнувшей вблизи и вдали.
Скажи мне, Али,
Куда улетели фламинго?

Цапли любят себя гордо собою,
Расправляя клювом серые перья.
Память не знает,
Что такое потеря,
Не знает,
Как непросто расстаться
Даже с болью,
Даже с этим клочком незнакомой земли.
Скажи мне, Али,
Куда улетели фламинго?

Людам овал безупречный лица
Дается, как правда пророкам.
Ты был прав до конца,
Что собрал совершенство по крохам
У загадочных рас,
Но сегодня от нас
Улетели прекрасные птицы.
Как бывает непросто проститься!

Серые цапли кричат в нашу честь.
Память у нас еще есть...
И боль,
И клочок незнакомой земли.
Скажи мне, Али,
Куда улетели фламинго?



НАНА

Как улыбаешься ты хорошо!..
 Как говорила о брате ты гордо...
 Десятиклассница. Белый флажок
 В переплетениях древнего города.

Выросли. Боже мой, где та черта?
 Заняты парки другими — моложе нас;
 Детство мороженым тает у рта,
 Мир открывается строчкой Волошина...

Что-то уходит с приходом весны.
 На Руставели срезают платаны...
 За целомудренность щек и ресниц
 Думаю я о тебе благодарно.

На выпускном пошатнутся ряды
 Рослых красавцев — соседей по парте;
 Завтра же мама расскажет родным,
 Как ты прекрасна была в белом платье...

ИЗ ПИСЬМА В ТБИЛИСИ

Со дна бездонной снежной котловины
 Пишу вам,
 как живу я тут:
 Идет январь, вторая половина,
 Стихи
 идут.

Хабаровск, 1983 г.

●

...Там снова встречу я с зарей, с закатами —
 за кадром кадр,
 И с голосами, что слышны за кадрами
 здесь — кое-как,

И с полутьянными от слов цикадами...

С колодой карт

«Пастушка» бредит там стихов цитатами,

поет не в такт,

И моей юности напоминанием,

в поздний час,

Дожди, пришедшие на поминание,

простучат...

●

...Из дерева мягкого сделаю маску я —
Первую маску, для девочки ласковой.

Как ты податливо, теплое дерево,
Как ты прощаешь мою растерянность —
Линии сами будут вести меня,
Лишь успеваю за ними резцы менять.

Комната к ужину стружкой заполнится,
Будет подружка ее выметать;
Так и закружится, так и запомнится —
Стружка по комнате будет летать.

...Будет висеть маска на стене...
Будет ездить мастер по стране...

●

Прости за этот холод, этот город,
За то, что так дремучи здесь леса,
Прости за то, что долго детский голос
Мне будет слышен в птичьих голосах.

За то, что ты домой идешь устало,
За то, что в доме лестница крута,
За то, что ночь — беззвездная, пустая,
И тишина молчаньем залита.

◆

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

●

Ливень лил в Батуми. Лужи были выше
Щиколоток. Стоя под карнизом крыши,
Дух переводили, а до крыши самой
Особняк пиликал оркестровой ямой.
Гаммы, полонезы, польки, баркаролы,
Маленькие классы музыкальной школы.
Черни, Гречанинов, Гедике и Глинка.
Маленькая школа сразу возле рынка.
Скрипка-невеличка, а рояль огромный,
Но еще огромней тот орган загробный.
Глупо огорчаться. Это лишь такая
Выдумка, забава, музыка простая.
Звуки пропадали в пресноводном шуме,
Гомоне и плеске. Ливень лил в Батуми.
Выбежали стайкой, по соседству встали
Дети-вундеркинды. Лопотали, ждали
Малого просвета. Вскоре посветлело.
Разные там Гиви, Гоча и Нателы
Дунули по лужам, улицам, бульварам.
В городе Батуми, вровень с тротуаром,
Колебалось море и качался важный
«Адмирал Нахимов» с дом пятиэтажный.
Полно убиваться. Есть такое мнение,
Будто эти страсти, грусти, тревоженья —
Вымысел, причуда, простенькая полька
Для начальной школы, музыка — и только.

◆

ГРУЗИНСКАЯ ГРОЗДЬ



Мне улыбнулась ранняя весна —
Двух матерей судьба мне подарила:
Под сердцем россиянка юкесла,
А Грузия меня удочерила.
В крови моей две жаркие струи,
А в памяти две песни колыбельных.
Две родины, два солища — две любви
Мою судьбу сложили и согрели.
И я благословила их не раз
Под северным моим и южным небом!
Друзей я угощаю в добрый час
Вином грузинским
и российским хлебом.
...Когда я сквозь последнюю грозу
С земли моей сойду в ее глубины,
Посадит сын
Грузинскую лозу
И горькую российскую рябину.



Я видела, как делают вино...

Рассвет сентябрьский светел и отраден,
И таинство времен заключено
В прозрачности упругих виноградин:
Дыханье гроз,
Тяжелых пчел полет,
Полдневный зной,
Полночная прохлада,
И виноградаря соленый пот...
И вот — она раскинулась крылато
— лоза!

Творенье солнца и земли,
Дитя веков,
Созданье рук пречистых!

Медовым зноем гроздьа тяжелы
В причудливых переплетеньях листьев...
Жестка ладонь творца, но и добра!
Черед лозы неотвратим — как роды.
И пробил час!
Пора, народ, пора...
Кивает патриарх седобородый.
И стар, и млад поклоны бьют лозе.
И тяжек труд,
И сладостна награда.
Ребьячи губы в золотой росе
Созревшего хмельного винограда.
Грядет он — ртвели,
Праздник,
Марш-бросок!
Лоза стряхнула солнечные чары.
И льется в чаны искрометный сок,
И бродит развеселое маджари.
Как пьется это юное вино,
Едва-едва успевшее родиться!

А настоящее вино —
Оно —

как истина —

еще должно открыться

Во времени,
В подземной тишине
Настаиваться, созревать до срока,
Чтобы ожить чудесно
в глубине
Таинственного дедовского рога.
Так прошлое должно перебродить
В сосуде сердца
будущего ради...

Сентябрь —
Времен связующая нить!
Прекрасная пора пиров и свадеб!

ГРУЗИНСКИЙ ХЛЕБ

А как мы в детстве бегали
 По спускам и подъемам,
 Какие чудо-пекари
 Работали под домом,

Какие тени шаркали
 И пели в том подвале,
 Какие шóти жаркие
 Нам в щелку подавали!

Кто тесто там раскатывал,
 Кто, в белом балахоне,
 Разглядывал, разгадывал
 Поленьев. полыханье,

В геенну раскаленную
 Потом нырял он слепо,

И эту роль коронную
 Он знал, как душу хлеба.

Ты породнись, пожалуйста,
 Зерно, с огнем, с водою,
 Ты испекись поджаристо,
 Ладья, и стань святою,

И с этого мгновения
 И в гору, и по склону
 Пльви, благословенная,
 Под крышу и под крону!

Вздыхало под покровами
 Ухоженное тесто,
 И бликами багровыми
 Подсвечивалось действие...

И хлебом пахло детство.

ПЕРЕПАДАЮТ ДОЖДИ

Дудуки хриплое рыданье,
 Зурнач с навьюченным ослом,
 По-над базарными рядами
 Ленивой молнии излом —

Кто скажет: жизнь аляповата?
 Она волшебна с тайных пор,
 Кувшинов гладь голубовата
 От винных капиллярных пор.

Порой дожди перепадают,
Небесной свежестью дыша,
И куры к лужам припадают,
Как к вечной истине — душа,



Дождинки в замше пухлой пыли,
А зной — часов еще на пять...
Мы есть, но до того мы были,
А после будем мы опять!

Свистульки глиняной рулады
В гончарном горле петушка —
Не сам ли демиург крылатый
Свистит в него исподтишка?

ПАМЯТЬ

В плаще плюща столетняя стена.
Здесь кирпичи и листья срок немалый
Людским страстям и горестям внимали,
Усвоив благородные тона
Перегородчатой эмали.

Пусть за стеною жизни ураган —
Покойно здесь сидится старикам,
Пока воспоминанья не украдены,
И любви их натруженным рукам
Янтарных четок виноградины...

Бывало, в озаренье озорном,
О красоте, о шансе козырном,
О том, что жизнь нахлынет и растет,
Рыдали здесь дудуки и зурна —
Зерном чревата жертвенность зерна,
Что памятью и песней прорастает!

МЕТАМОРФОЗЫ

В музее елочных игрушек,
В тени смолистых хвойных круч,
Среди шаров, свечей и кружек
Я отыскал хрустальный ключ.

Люк растворился с нежным звоном,
И я — в мерцанье янтаря,
В благословенном, благовоном,
Глухом подполье алтаря,

Вперед, скользя и задыхаясь,
Чем одержимей, тем верней,
Вторгаясь, ввинчиваясь в хаос
Из глины, гнили и корней!

Я — старый крот, и труд мой долог,
Устои смерти он потряс.
Я — подсознания спелеолог,
Маркшейдер потасенных трасс.

Влекомый черным гороскопом,
Ползу, удачи блудный сын,
А надо мной -- все горы скопом,
А над горами — неба сиюсь...

Тоска уже не габаритна:
Изведенная мной сполна,
В пещерных сводах лабиринта
Не умещается она.

Но переходам, закоулкам,
Плутая в цепких тупичках,
Иду один во мраке гулком
В зеркальных фирменных очках,

Бегу, победно вскинув ружу,
В бессчетный раз стезю торя
К тому игрушечному люку
В глухом подполье алтаря...



Дому-мемориалу «История грузинского поселения в Москве XVII — XVIII вв.»

Питаю историческую ревность
К прапрадедам и прихожу сюда
Наследником: здесь русский государь
Пожаловал им двор и выдал крепость
На право поселения в Москве.
В нижегородских хрониках, в мазке
Иконописцев киевских, иверских,
В деяниях Петра на водах невских,
В шаири месха, в каждом волоске,
Связующем лозу и святость веры, —
Повсюду этой ревности примеры —
Мемориалом верности. Она
Благословила день Бородина
И ночь перед началом новой эры.
Я снова на Большой Грузинской понял,
Что чувство этой ревности растет.
Здесь смысл единоверия простерт
До общечеловеческого: «Помни!»

Одуматься и — вслед
за перелетом скорым —
сойти листвой, истлеть
во глубине Тверского,
перемениться вдруг
в самой душе, в лице ли...

Ах, птицы на ветру —
выпускники Лицея!..

Осанисто ворон вышагивал...
Следы на снегу — что стежки.
Следы на снегу — что стишки.
Вышагивал — ножкой вышаркивал.

Оракул? Ученый в каракуле? —
По белому, черным — каракули
о том, как огромный и заспанный,
засветло,
с крыльями за спину,
осанисто ворон вышагивал...

●

Одиночество мое,
неустроенность...
Если б только мы вдвоем,
а ведь трое нас.
Если б только мы с тобой,
а ведь третий здесь.
Я боюсь лишь одного —
что вы встретитесь.



Паола ЗРУШАДЗЕ

ГРОМ

Дома напротив спрятали огни
И выставили крыши, как подмости,
Протогонистом сразу же по ним
Прошелся гром смешивый и громоздкий.

Он грохотал, он страсти в ключья рвал,
Пугал котов в чердачных амбразурах,
На высшей ноте осознал: «Провал!»
И замолчал, влезаянко образуясь.

Почувствовав, что сильно перегуль,
Зарокотал застенчиво и крётко,
Потом задумался, потом вздохнул: «Да ну!»
Откашлялся и объявил: «Чечетка!»



ИЗ ЦИКЛА «ТБИЛИСИ»

Дух перекисшего вина
 Да запах неотцветшей липы —
 И улица раскалена.
 А ветер тихий, ветер хриплый
 Несет пушинки — и мотив,
 Бесхитростный и атональный,
 По-моему — такой:

«Лети

Со мной, и каждый, самый дальний
 Клочок земли мы осеним:
 Я — свежестью, а ты — стихами»...
 Лететь мне — с ним?!

Куда мне — с ним,

Бездумной, с лживыми глазами?..

●
 Сумерки цвета сливы.
 Низкое небо. Осень.
 Ветер с растрепанной гривой
 Носится среди сосен.

Запах смолы уносит
 В страны зим и метелей.
 Сколько мы вымолим? Просим
 Вроде немного — недели.

Одной за годы и годы,
 Единственной за столетье.
 Сегодня такая погода.
 Наверно, весело детям,

Наверно, они играют
 В позолоченных скверах.
 Я разрыдалась. Зря я
 Так разрыдалась, верно?

Просто такая погода:
Тихая осень. Тихий
Праздник. Сегодня природа
Нас бережет от лиха.



Что будет завтра? Полно.
Завтра наступит завтра.
Только мне очень больно.

Дальше не помню.

Автор.



Тамара ЯНИШЕВСКАЯ

ЧИТАЯ ЛЕОНИДЗЕ

Отблагодаряют и завянут
Августом сожженные цветы.
Птицы петь в саду моем устанут.
Гуце встанут за селом кресты.
Выпьется вино в заздравных чашах,
Свет угасших звезд невозвратим..
Лишь однажды юность внукам нашим,
Уходя, мы в дар передадим.
Так когда-нибудь поэта сердце
Отпылает в грохоте стихий.
Он уйдет от нас в покой бессмертья,
Жить останутся—
его стихи.

ДЕРЕВНЯ

Поклон тебе, моя деревня,
Избушки глиняный порог.
Меня опять уводит время
К началу жизненных дорог.

Но годы здесь, утратив силу,
Притихли в ивах над прудом,
И глыбы в воду обвалились
У кручи, где наш старый дом.

Как ярко запестрели крыши,
Сменив соломенный покров!
Да тополя поднялись выше,
Да глубже стал у леса ров...

И синева над домом нашим
Синее стала в вышине.
Но те же розы тети Маши
Все тот же запах дарят мне.

И так же птицы над окошком
Замысловатый домик вьют,
Румянятся в печи лепешки,
И петухи весь день поют...

Останься этот миг уроком —
Калитка старая с трудом
Скрипящим жалобным упреком
Закрыла от меня мой дом.



Наталья ГОНЧАРОВА



Ударил колокол
— пора
припасть мне к стенам
из камней,
чтоб чувствовать
в сем храме
неслышанный никем орган!
Учитесь, руки!
Учитесь, уши!
Учись, душа!



●

В глубине,
В глубине,
В глубине
души
моей

Отыщу,
Отыщу
светлячка,
Что заманит
тебя

и затаяет
Глубину,
Глубину
души
твоей —

В глубину,
В глубину,
В глубину
души
моей.

●

Ты со мной не пойдешь.
Не проси, чтобы были мы вместе.
Мне летать на метле поручено.
Столько дел, столько дел, дорогой,
Столько звезд мне надо перечесть,
Побывать на шабаше...
Ну куда ты со мной?
Станешь лешим? Разлюблю, так и знай.



Владимир ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ПАМЯТИ АГУСТИНЬО НЕТО

Начинается звездный путь
от стремящейся вдаль
антилопы...

А. Нето.

Начинается звездный путь
от стремящейся вдаль
антилопы,
от танцующих ног
смутлянок,

от скрежещущих рук
гребцов.
Начинается звездный путь
от стремящейся вдаль

антилопы,
от танцующих ног
беглянок,
от скрежещущих рук
борцов.
Начинается звездный путь

от стремящейся вдаль
антилопы,
от танцующих строк
поэтов,
от скрежещущих звуков
певцов.



Я весь в снегу.
Лежу и боюсь пошевелиться.
Все застыло, как в сказке 1972 года.
Застыла ты и твоя улыбка, обретенная как-то вечером,
когда город бился в синих судорогах
и пыхтели трамваи.
Застыл робкий поцелуй и повис в электрической дали.
Застыл и я со своим пародирующим жестом..
Снег — со всех сторон.
Снег — в глазах, в ушах, в памяти.
Как удивительно пахнет чистым белым снегом.
И еще — твоей белой запиской, обретенной как-то вечером.
Я весь в снегу, твоих записок.
Лежу и боюсь пошевелиться.

Нежный очерк сирени плывет в облаках,
стало пусто кругом и темно от печали.
Стало пусто кругом и темно от печали,
нежный очерк сирени плывет в облаках.

Неумытая слива лежит на столе,
улыбаясь улыбкой задумчиво-странной.
Улыбаясь улыбкой задумчиво-странной,
неумытая слива лежит на столе.

●
В глубине,
В глубине,
В глубине

души
моей

Отыщу,
Отыщу

светлячка,

Что заманит
тебя

и затаяет

Глубину,
Глубину

души
твоей —

В глубину,
В глубину,
В глубину

души
моей.

●
Ты со мной не пойдешь.
Не проси, чтобы были мы вместе.
Мне летать на метле поручено.
Столько дел, столько дел, дорогой,
Столько звезд мне надо перечесть,
Побывать на шабаше...
Ну куда ты со мной?
Станешь лешим? Разлюблю, так и знай.



Владимир ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ПАМЯТИ АГУСТИНЬО НЕТО

Начинается звездный путь
от стремящейся вдаль
антилопы...

А. Нето.

Начинается звездный путь
от стремящейся вдаль
антилопы,
от танцующих под
смутлянок,

от скрежещущих рук
гребцов.
Начинается звездный путь
от стремящейся вдаль

антилопы,
от танцующих ног
беглянок,
от скрежещущих рук
борцов.
Начинается звездный путь

от стремящейся вдаль
антилопы,
от танцующих строк
поэтов,
от скрежещущих звуков
певцов.



Я весь в снегу.
Лежу и боюсь пошевелиться.
Все застыло, как в сказке 1972 года.
Застыла ты и твоя улыбка, оброненная как-то вечером,
когда город бился в синих судорогах
и пытели трамваи.
Застыл робкий поцелуй и повис в электрической дали.
Застыл и я со своим пародирующим жестом...
Снег — со всех сторон.
Снег — в глазах, в ушах, в памяти.
Как удивительно пахнет чистым белым снегом.
И еще — твоей белой запиской, оброненной как-то вечером.
Я весь в снегу твоих записок.
Лежу и боюсь пошевелиться.

Нежный очерк сирени плывет в облаках,
стало пусто кругом и темно от печали.
Стало пусто кругом и темно от печали,
нежный очерк сирени плывет в облаках.

Неумытая слива лежит на столе,
улыбаясь улыбкой задумчиво-странной.
Улыбаясь улыбкой задумчиво-странной,
неумытая слива лежит на столе.

Из-под толщи времен застучали часы,
возвещая о жизни вещей и предметов.
Возвещая о жизни вещей и предметов,
из-под толщи времен застучали часы.



Вера КИРЕЕВА

БУРКА

Я бурку твою позабыть не могу.
Под ней согревались мы в дождь и в пургу,
Под ней, как под черным, косматым крылом,
За счастьем, обнявшись, мы шли напролом.

Над степью морозная, злая заря.
Знать, бурку с собой захватил ты не зря.
В нее запахнувшись, летишь на гнедом,
В степном бураке под нею твой дом.

Еще напоследок, мой милый, хоть раз
Укрой меня буркой косматой до глаз,
С улыбкою пристально в них погляди,
Побудь со мной молча, а после уйди.

И прежних подарков моих не храни —
Тебя сожаленьем отравят они.
Храни свой задор, молодецкую прыть,
Да бурку храни, чтоб другую укрыть.

Каждый день я тебя навещаю во сне,
Как дитя, ты щекой припадаешь ко мне.
Я вино с тобой пью, и грущу, и пою,
И, смеясь, убираю каморку твою.

Но меня наяву повстречать берегись!
Ты увидишь холодную, звездную высь,

Ты застынешь, взглянув на ее синеву.
Берегись повстречаться со мной наяву.

●

Что же мне делать с твоею душой,
Неповоротливой, нежной, большой,
Дремлющей где-то в забытом углу.
Страшно глядеть в ее звездную мглу,
Страшно предвидеть доверчивый суд.
Что-то мне годы с такой принесут.

Низкое солнце окрасило плес.
За день дары ее — горсточка слез,
Ялик бумажный, сухой василек.
Мне же мерещится, светел, далек,
Берег высокий в ее глубине,
Там, где жилище построено мне.

●

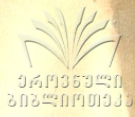
Белый занавес радостно дышит,
От прохлады в углах — синева.
Смуглый мальчик старательно пишет
К непонятым рисункам слова.

Дом просторный и полдень погожий,
В окнах синее марево гор,
На любовную ссору похожий
Двух чонгури глухой разговор.

По циновкам неяркого света,
В тихом ритме хозяйственных дел,
Вы ступаете мягко, как лето,
Обходя ваш домашний предел.

Над ребенком склоняясь с любовью,
Вы подносите плод к его рту,
Но раздумье над четкою бровью
Провело своим ногтем черту.

Синевой обведенные веки
Золотую улыбку таят,
Но сурмил их заботливо некий
Разъедающий медленно яд.



И теряюсь в сомнении новом,
Но, узнав, изумляюсь ли тому,
Что и тесно порой и темно вам
В этом залитом солнцем дому?



Светла, проста
Земли моей наука:
Сожми уста —
Ни жалобы, ни звука!
Всю боль стерши,
Встречай невзгоду смело.
Река в степи
От гроз не обмелела;
Края русла
Цветут еще пышнее,
И заросла
Бессмертником траншея.
Так я живу,
И снова влюблена я,
И наяву
Утрат не вспоминаю.
Но чуть весна
Распахивает ставни,
В наплывах сна —
Дыханье были давней,
Печали той,
Которой нет в помине,
Печали той,
Что жжет меня поныне.



НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ

ОПЫТ АССОЦИАЦИИ

НЕ ЗНАЮ, откуда это пришло: любовь к одинокому ночному бродяжничеству в чужом городе...

Так знакомился я с Варшавой, Хельсинки, даже Парижем. Хотя у Парижа, как известно, нет ночи. Так и в Вильнюсе в свое время, в Каунасе, в Тбилиси: образ города откладывался ночью.

Первое воспоминание: блестела под луной шатровая крыша церкви Кашуэты. Я не мог уснуть, вышел, пошел, потерял церковь, нашел другую, поднимался по очень крутой улочке вверх, блестели бульжины, кричали коты, шли навстречу компании — одна с песней, другая — с угрозами кому-то, кто остался там, наверху, очевидно в ресторане. И опять тихая ночь, южная, пряная, напряженная, жила своей жизнью... Помню мост, Куру, какого-то прохожего философа, грузина с седой головой, который быстро нашел со мной общий язык, напросился в гиды, и потом я совсем не жалел об этом... Только утром вернулся в гостиницу, уже после хаши...

Но, как правило, я гуляю один. Это дорого. Проясняются дневные мысли, балясины балкончиков, прожитые годы. Тысячи подробностей, которые ты не замечал при свете дня, замечают тебя ночью. И, кажется, говорят с тобой на непонятном, но таинственно-волнующем языке...

В этот приезд, летом 1982 года, я не узнал старого города, настолько он был узнаваем отовсюду, освещенный, иллиминированный, четкий в светящихся своих очертаниях. Ему не хватало темных пятен, разбросанности и непреднамерен-



ности. Но он был очень красив новой своей красотой — гордостью, что он замечен, что наступил вечный теперь его праздник. Я смущенно ходил по знакомым когда-то улочкам, вышел к Сионскому храму, вернулся к Куре. Снова попал в плен огней, отраженных теперь в неподвижной, темной реке. Я понял, что меня смущало: старый город напоминал старого друга, близкого и родного, которого повысили по службе, и он, оставаясь милым со мной, принадлежал уже не только мне — круг друзей у него расширился, он не мог уделять мне всего внимания. Он вынужден был думать о многих. «Что же, это хорошо», — не очень уверенно сказал я вслух.

Мысль о друге навела на другие близкие темы. Я больно ощутил утрату многих людей, которые встречали меня в Грузии, без которых и сам Тбилиси что-то потерял. Для меня, конечно, не для этих молодых людей, весело, стайками, сбегавших по проспекту Руставели, пустынному в этот час и долго помнящему эхо их гортанных голосов. Поражала теперь, через много лет знакомства с городом, именно она, молодежь. Мне показалось, что на улицах все меньше остается пожилых людей, что город омолодился в устрашающей пропорции. Красивые, как и прежде, но по причине движения времени и для меня — красивые неимоверно, неправдоподобно! — девушки наполнили Тбилиси, захватили в нем все возможные позиции, вытеснив прочих возрастов население — в офисы, душевные комнаты со столами, перегруженными бумагами. Фигуры девушек, как правило, напоминали мою дочь.

Двигалось необратимо все. Может быть, один Карло Каладзе, мой старейший друг, оставался молодым, умудрялся не поддаваться бегу часов. Горе, казалось, не оставлявшее его последние годы ни на час в покое, вызвало ответный прилив сил, он сопротивлялся времени, как мог. А мог он делать это как никто. Я вспоминал такие же ночи в Цхнети, в обществе Карло, прекрасной Гулико, упрямо-одаренного Гулды, сына его от первого брака... Я вспоминал встречи с Георгием Леонидзе, который шептал мне за столом (до смерти его осталось меньше года!): «Ты думаешь, почему я пишу стихи? Я влюблен!..» Помню, как стоял он на балконе дачи Серги Чилая и смотрел на далекие горы: «Там, в той стороне, Чаргали!» Он почему-то очень хотел, чтобы я увидел то, что никто, даже он сам, не мог увидеть с этого балкончика, — родину Важа. Но время позволяет видеть. Перечитывая недавно письмо Симона Чиковани, я снова пережил минуты волнения

и радости от общения с этим прекрасным человеком и художником. Я вспомнил красное вино, почти черное, которое стояло на столике в кабинете московского критика Анатолия Тарасенкова, когда мы впервые чокнулись с Чиковани... А ведь было это очень давно, более тридцати лет назад! С этого вечера — за окном Лаврушинского дома белел синеватый снег — я чувствовал плечо друга и умный голос Симона Ивановича в дискуссиях тех лет, находил в нем союзника.

А милый, обаятельный говорун и щедрый весело-непримиримый Бесо Жгенти! Помню, как стояли мы, обнявшись, в Мцхете, и он клялся, что никто не любит так Маяковского, как он, даже в России, — и сам верил..

Ах, как я люблю грузинские чудачества! Сколько детскости было у Иосифа Нонешвили, который, укоряя меня, что я его недооцениваю, предложил обратиться тут же, на Руставели, к десятку людей для подтверждения его популярности. Да, все его знали, все хлопали по плечу, и он всех хлопал. Но этого показалось ему мало. Узнав, что в гостиницах нет свободных номеров и что я ночевал на кожаном диване в особняке Союза писателей (ах, как романтично было: рядом белел бюст Наполеона, а в дворике всю ночь булькала вода в затихавшем к рассвету фонтанчике!), Нонешвили буквально потащил меня в гостиницу «Тбилиси», где тут же получил для меня номер у администратора, но, не ограничившись этим, повлек меня за собой дальше... Он снял мне номера во всех гостиницах города! Он по-королевски предложил мне самому выбрать, где жить!.. А я так и не написал о его стихах.

...Я стою на мосту и шепчу, как заговорщик: Карло, Ираклий, Григол, Отар, Тамаз, Анна, Шота, Гия, Эдик, снова Отар, Реваз, Коба, Тенгиз, снова Отар, Гиви, снова Гиви, Ушанги... Нет, это совсем не так страшно: время. Оно еще есть, время. Его несут на своих плечах мои друзья. И я могу еще подставить плечо для общей ноши.

Только не для этой.. Голубые глаза, которые всегда ласково светили мне. Худой, медлительный и вдруг взрывающийся острым словом, не по возрасту собравший морщины у глаз на вольтеровском своем лице — Гурам Асатиани... Его уже нет — одного из самых замечательных грузинских критиков. Вижу его, сонно потягивающегося, — мы с режиссером Георгием Данелия подняли его днем (а он — «сова», работал ночью) на даче, где-то в горах, над Тбилиси. Снимался фильм «Не горюй». Искали натуру. Как весело прошел день, как длинно ложились тени на пыльной дороге, как не хоте-

лось расставаться с Гурамом.. А довелось. Так скоро. И на-
всегда.

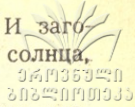
...Я смотрю на круглую большую луну. Медную луну. И почему-то думаю, что такую луну видел Одиссей. Почему? Щит напомнила? Или я — Одиссей? Нет, пожалуй, не то, другое — Коба Гурули, вот кто.. Это он мог сделать такую луну, он ее и сделал!..

Давно это было. Когда он начинал с Очаури вместе феноменальные свои работы по возрождению грузинского искусства чеканки. Я пришел к нему. Мы подружились с Кобой сразу.

...Коба Гурули взял лист красной меди и любовно провел по нему рукой. Карандаш быстро обежал блестящую поверхность листа и очертил девушку с поднятыми к солнцу руками. Рисунок казался небрежным, недостаточно четким. Но вот сильная рука мастера сжала короткий нож, на миг Коба задумался, затем вздохнул и несильно нажал на лист. И вот, постепенно, под лезвием ножа вырисовывается четкий контур. Время от времени Коба переворачивает лист, откинув голову смотрит на сделанное, прищурив глаз. Затем вновь идет по рисунку лезвие ножа, оживают контуры. Вот в дело вступил и крохотный молоток. Мягко и осторожно обрабатывается фактура. Четкая и безошибочная чеканка следует по контурам стройного стана. Коба выпрямляется, затем вновь сгибается над станком — низким дубовым столом. Макает обернутую ветошью палочку в азотную кислоту — и медная пластина озаряется, лист покрывается тенями, словно над полем проходит облако.. Смотрю на руки Кобы — сильные крестьянские руки, лишь глядя на эти напряженные, мускулистые руки, понимаешь, что чеканка не только артистический, но и тяжелый труд. А в это время уже горит форсунка и огненные язычки лижут оборотную сторону пластины, «старят» ее. С полминуты держит в руке Коба небольшие, продолговатые щипцы, в клюве которых «старится» металл, покрывается благородным цветом. Вот он уже осторожно вешает на стену готовую работу... Скромный, покрывшийся багрянцем, отступает и.. неожиданно восклицает: «Здорово!» — и эти слова звучат так просто и естественно, что и я смеюсь вместе со смущенным Кобой. Лишь мастер может так искренне и точно оценить свою удачу, пренебречь так называемым «хорошим тоном».

Со стены смотрит на меня древнейшее и вместе с тем совсем молодое искусство грузинской чеканки — нежное, как

бы поющее лицо девушки, которая вспоминает море... И загоревшее ее лицо покрыто золотистым цветом, цветом солнца, цветом молодого крестьянского вина.



...В тот день природа обделила нас прозрачностью воздуха. Алазанская долина была видна с Сигнахи лишь до гор Дагестана. А как мне хотелось увидеть снежные вершины; с перевала одной из них я когда-то смотрел на Грузию! С Телавской крепости открывается великолепный, неповторимый вид. Какие дали видны в Грузии! Я не говорю про Джвари. Да и не только Джвари. Когда стоишь во дворе дома Ильи Чавчавадзе в Сагурамо, тебе кажется, что дышится глубже и свободнее...

Может, поэтому и видят грузинские поэты природу так далеко и контурно в своих стихах?

Когда Георгий Леонидзе удивился, что я не различил в горах деревню Важа Пшавела, я мог подумать, что у него острый глаз горца. Но тот факт, что в стихах грузинских поэтов детали удивительно четко «обработаны» на фоне небес и гор, — является уже особой чертой грузинского искусства. Эта черта придает ему особо «устойчивую» гармоничность композиции, которая чем-то напоминает нам искусство чеканки.

В Грузии не найдены следы объемной (круглой) скульптуры. Зато чеканные барельефы и горельефы, каменные изображения на древнейших соборах и храмах свидетельствуют о том, что стремление к объемному изображению осязаемого мира жило вечно и древние мастера видели мир не плоским.

В том числе — мастера слова.

Но объемность мира мы понимаем как его наполненность. То, что пытается скрыть художник, потеряно не только для поэзии, но и для жизни.

Полнота жизни, зрелая, золотая, как медь Кобы Гурули...

На днях, когда я спросил: почему Кура постоянно желтеет, один старый умный грузин с сожалением ответил: «Леса вырубаем, а о будущем не думаем. Корни держали землю. Сейчас плывут горы. Реки и ручьи разрушают наш рельеф. Говорят, должны иметь пашни, нет, голову надо иметь...» Сегодня все чаще и чаще задумываемся мы о земле, в которой покоятся наши предки и на которой должны жить наши внуки. И это часть исторически полного взгляда на жизнь, на собственное место, собственную роль на земле. Нет, многое изменилось в нашем отношении ко всему живому — хотя бы к лесу, в прямом или метафорическом значении.

Умозрительному представлению о жизни трудно найти место в грузинском искусстве — слишком уж жизнелюбива и полнокровна лоза, питающая ее многовековое искусство, ее большую поэзию, пустившую глубокие корни в творчестве талантливой свободолюбивого народа.

Историзм — не только внимание к тому, что было, хотя порой бывает, что ощущается нехватка и в этом, когда мы стремимся к «обновлению» мира, — это не только уважение к опыту поколений, — это понимание того, что жизнь — вечный, разумный процесс отрицания ложных путей нашей практики, опыта. Это дальновидное учитывание того, что опыт не пройдет бесследно.

В Крестовом монастыре я слушал старинный хорал. Пустой собор отражал могучие голоса, а в этих голосах слышалось такое великое спокойствие, уравновешенность, что казалось — уж никогда ничего не изменится, на протяжении веков стояли эти стены, и впредь на протяжении веков будут окружать их наши чувства и переживания, чувства и переживания наших детей...

Но под самым куполом чирикала залетевшая птичка, а из бреши в стене виднелось небо, которое постоянно меняло окраску...

Новое не всегда предсказуемо. На этот раз я был у Коба и мы говорили с огорчением о том, что чеканка профанирована, что она стала китчем. «Тебе не хочется убить своих детей? — спросил я. — «Я тебя породил и я тебя убью...». Коба покачал головой отрицательно. «Я иду вперед, ищу новый подход, новую технику. А эти «самогонщики» (он почему-то так назвал ремесленников от чеканки, поставивших на поток производство), они торопятся... Им невыгодно красть у меня, например, это... (он показал на туманный, невыразительный с первого взгляда лист металла, смахивавший по фактуре на керамическую пластину). Три месяца требуется для эрозии металла, чтобы добиться желто-розового фона, — им ждать некогда, красть не станут! Вот я и ушел от них...» Коба смеется.

Я смотрю новые работы. Да, он ушел вперед. Не только в технике. Его работам присущи сейчас черты философские. Космос. Рождение космоса, миры планет, связь космогонических гипотез с народными легендами, снами человечества... Рождение женщины, рождение азбуки... И продолжение портретной линии: трагичный Галактион, мудрый Змеед-Важа, святая Шушаник, тонущие люди с привязанными гириями к

15035320
512-111033

ногам и волосами, словно бы тянущимися к поверхности воды... История чеканки этой такова. Кто-то из писателей, воевавших под Керчью, рассказал Кобе о том, как немцы топили воинов наших. Коба слушает мой рассказ о тех годах, лицо его напрягается, гримаса боли пробегает по щекам, губам, подбородку. Он дергает головой снизу вверх, как будто ему самому не хватает воздуха... «А вот Хиросима...» Коба выходит к искусству масштабному, провидческому, универсальному...

Мы едим хлеб, запиваем вином. Говорим о будущем земли, о святом чувстве братства людей. Заходит болгарин, скульптор. Учится чеканке, хочет на опыте грузинской возродить болгарскую. Звонят. Канадский или новозеландский посол хочет посмотреть работы. Будет скоро. Коба вздыхает. Морщится. Так хорошо сидели, говорили. Начинается официальная часть. Художники, истинные художники, терпеливо сносят эту сторону своей популярности, но отводят ей, разумеется, третьестепенное место. Впрочем, не все — говорим об одном ловкаче, валютном маляре, презрение к которому среди людей чести повсеместно... А я помню, как он приходил в редакцию «Литературной газеты», ныл, что его затирают «правые», искал поддержки «левых», за него вступались маститые писатели, обвиняя в ретроградстве живописное начальство...

Я рассказываю Кобе о другой, совсем не похожей, противоположной судьбе, подсказанной памятью. Было это в 1953 году. Летом. Пришел ко мне молодой грузин по имени Гурам Кордзахия. Показал сначала фото, а потом и гипсовую копию скульптуры — Маяковский стоит против ветра, руки засунуты в карманы плаща, ноги широко расставлены. Я сразу влюбился в такого Маяковского, поверил ему, угадав раннего Маяковского, да и зрелого, того, что знал твердо: никогда не придет к нему «позорное благоразумие»! Правда, опыт подсказал мне, что такого поэта Революции не все примут. Скажут: этот стоит на Бруклинском мосту. А нам надо другого, певца наших дел, автора поэмы «Хорошо!» Так и сказали... Но все по порядку.

8 июня 1953 года я ворвался в кабинет К. Симонова в «Литгазете» и сказал ему: «Вот Маяковский!» Показал фото. Он сказал: «Хо-ошо, очень хо-ошо... Вот и садись. Пиши об этом парне. И чтоб позлее, позлее! Надо сказать, что все эти (тут он назвал имя одного академика скульптуры) и прочие (следует имя академика живописи) стали попе-ек до-оги мо-

лодежи... И предложим им от-к-ытый конку-ус! — Он лукаво засмеялся. — А что?»

9 июня 1953 года в номере 68-м «Литературной газеты», на **первой** полосе, на самом видном месте, где обычно (слева вверху) шла передовая, мы поместили большое фото скульптуры Кордзахия. Рядом шел мой текст. Вот он полностью:

«Эта большая, почти трехметровая скульптура В. Маяковского — дипломная работа выпускника Тбилисской академии художеств Гурама Кордзахия.

Молодой скульптор, с отличием защитив диплом, готовится к поступлению в аспирантуру Московской академии художеств.

В июле этого года исполняется 60 лет со дня рождения Владимира Маяковского. Создание памятника Маяковскому, намеченное правительством еще в 1940 году, как и создание памятников другим писателям, недопустимо затягивается до сих пор. В значительной мере вина здесь лежит на руководстве Оргкомитета Союза советских художников, слишком равнодушно относящихся к выдвижению молодых, талантливых скульпторов.

В частности, например, работа Г. Кордзахия даже не была выставлена на обсуждение на традиционной выставке работ выпускников художественных вузов 1952 года, хотя имела на это несомненное право. И этот пример — далеко не единственный.

Было бы правильно изменить подобную ошибочную практику и впредь шире, с открытой душой привлекать свежие, талантливые молодые силы к работе над проектами памятников».

Прошло какое-то время. Скульптура Маяковского, после сложных перипетий в различных «художественных» инстанциях, заняла незаметное место во дворике музея Маяковского на Таганке. Она была скромных размеров и стояла невыгодно. Но завсегдатаи исторического дома Маяковского помнят ее... Потом как-то застенчиво ее убрали и оттуда.

Но прошли годы и годы, и вот она, в полный рост, в молодом окружении новостроек, поднялась в ветреное небо, в небо Дигоми! Тысячи тбилисцев стояли вокруг белого полотна, скрывавшего могучую фигуру поэта-бунтаря против всяческой косности и дряни, поэта Революции... И я стоял рядом с Симоновым и слушал слова благодарности городу, скульптору, времени поэзии... Жаль, что Гурам не дожил до этого дня.

Он умер рано, как и другой мой друг, талантливый Гудда Каладзе. Они не суежились, не искали выгод от «войны» с ретроградами, не делали карьеры, обивая пороги посольств и рисуя одинаковые византийские глаза продавщицам «Березки», послам, кинозвездам и государственным деятелям. У них была совесть. Они были художниками.

...Тогда я ушел от Кобы поздно. Вечер был тихий, и луна казалась тарелкой со стены мастерской чеканщика.

В примечаниях Байрона к «Дон-Жуану» прочел как-то, что на стенах Венеции, ограждающих город от моря, написано: «Римской отвагой, венецианской медью». Нет ли тут связи с блоковской строкой — «И медь торжественной латыни...»?.. Какие только не придут сравнения ночью! Вот, например, нет ли в чеканке отзвуков древнего театра масок, «берикаоба»? И не сродни ли рисунки по меди расчетливым композициям, лаконично выраженным на ограниченном пространстве маски?.. В XI веке не обходилось, пишут ученые, без представлений театра «сахноба». «Мгосани», «мушанты», «мутрибы» — артисты придворных театров той поры имели постоянные маски «героев» и «врагов»...

Мы многое сохраняем из прошлого опыта. Порою помним и то, что было до нашей эры. Но всегда ли сохраняем опыт недавний, еще не ставший далекой историей? Меня, например, волнует традиция революционных 20-х годов в советском искусстве, в том числе — грузинском.

О Давиде Какабадзе сегодня говорят все. А все ли помнят его эксперименты, имевшие принципиально новаторский характер организации театрального действия? Искусствоведы, конечно, знают, что он, организуя сценическое пространство, пришел к принципу **квадратов**. Сноп света выделял поочередно такие площадки. Внимание зрителя организовывал принцип кинокадра. Вероятно, вполне можно допустить, что и знаменитые картины художника, если обратиться к станковой живописи, полотна сороковых годов, — я имею в виду, конкретно, «Красную гору» (1944), «Грузию» (1942), — основаны на принципе «квадратов», разные цвета которых или разные оттенки красного в них заставляли любовно всматриваться в **каждый** клочок родной земли! **Поочередно** всмотреться, признать ценность частного... Мы понимаем, что в квадратах картин Какабадзе есть и простая наблюдательность, они действительно лоскутны, многие склоны грузинских гор, особенно осенью. Но и определенный конструктивный смысл содержится в них, в самом этом приеме. В исканиях Какаба-

где видим мы теперь и прогноз будущих форм кино движущийся зеркальный шар, излучающий цветную гамму на сцене, был провозвестником цветного кинематографа, а световой луч конструировал «крупный» и «общий» планы.

...Я смотрел на подсвеченного Горгасала и думал о том, что ночью он воспринимается стражем Тбилиси. Днем же, как и подобает ночному стражу, как бы растворяется среди остальных воителей и прохожих, он едет верхом, а его обгоняют автомобили и спешащие пешие. Так было всегда: были воители и прохожие. В жизни так. И в искусстве. Но кто-то ночами постоянно должен не спать, быть «заложником вечности». Или хотя бы напоминанием о ней.

Я знал многих больших художников в разных областях искусства и поражался их полной, покоряющей всех неозабоченности проблемами вечности. Вечность их как бы не касалась. Я замечал потом не раз, что вечностью, ее откликом озабочены, как правило, таланты неорганичные. Будто им-то и жить в веках и надо торопиться прописаться в вечности, среди звезд и других светил. А истинные таланты жили минутой и находили в ней вечность, как оказывалось только потом, много позже...

...Я шел и смотрел на огни квартир, бодрствующих в этот поздний час. Может, и там, за этим окном с чуть развевающейся занавеской, сидит, склонившись над столом, будущий Руставели, который, конечно же, ничего не подозревает о своем избранничестве... Он просто дома. И дом представляется ему пристанью в море жизни. В маленьком этом мире окружают его родные люди, и он хочет делать им добро. И волнение его над листом бумаги воспринимается им самим как часть добра, неизвестно за что ниспосланного ему...

Наш Дом! Я думаю сейчас о моих друзьях снова. И вижу их в окружении их семей, жен, детей, внуков, в связи их всех с историей этого дома, этой семьи, этого, если хотите, рода людей... Мой друг Ушанги Рижинашвили написал книгу рассказов. На обложке ее буква — одна на другой — д, о, м. Дом строится, он держится на фундаменте добра и соучастия всех его населяющих — людей, скрепляющих эти три буквы: ДОМ... Я открываю книгу наугад и читаю: «Построй в душе своей дом, в котором ты вырос, в котором жили твои предки, и пусть в доме этом живет твой сын, твой внук и правнук, ибо нет еще на свете бульдозера, который может смять, выровнять и убить человеческую память...» Дальше можно не читать. У кого не сожмется сердце, не встанет память личных

утрат и надежд на лучшее будущее в связи с одним только словом: **дом...** Слова писателя врезаются в память потому, что в них большая правда, наша общая правда: нет вечных стен у дома, в котором мы оперились, из которого мы ушли в дорогу, но есть связь между людьми одного рода, одной крови, одной памяти... И если эта связь прервется, никакие стены не дадут тепла твоему сердцу...

В дневнике Рильке я нашел запись, взволновавшую меня особенно тревожно, — слова о том ужасе одиночества, который испытал поэт однажды ночью, в селе под Полтавою, куда приехал он на несколько дней. Это было чувство «звучания пространства и одиночества, которое запало в меня однажды под Полтавой... когда хатки были так немые и одиноки перед ночью, что надвигалась». Я не знаю лучшего перевода, чем перевод на украинский Микола Бажана. Вот две строчки, которые долго звучали во мне после прочтения книги Рильке:

Мало село — це тільки перехід
Між двох світів у інший ячний світ...

Я вспомнил строки Бараташвили в переводе Пастернака:

Это легкий переход
В неизвестность от забот...

Рильке в автокомментариях к «Дуинским элегиям», в 1925 году, писал: «Смерть — это лишь другая, невидимая и неосветленная нами сторона жизни. Мы должны подняться к высшему смыслу нашего бытия, какой у тебя дома (!— Вл. О.) в обоих неразграниченных между собой сферах бытия и питается из неисчерпаемых источников обоих... Истинная жизнь охватывает обе сферы, великий круг кровообращения проходит через ту и другую: нет ни этого, ни другого света, есть лишь один величественный простор...»

Рильке ощутил не страх смерти — страх потери дома. Дома (в расширительном смысле, это означает — на земле, в реальной жизни человека) личность спокойна той первоначальной эпической осознанностью своей принадлежности миру рождения и смерти, в которой есть лишь кругооборот природы, смена времен года, поколений, стремлений, надежд.

Дом становится символом прочности, укорененности в природе.

Дом — символ пристанища души — интересно трактует молодая тушинка, самобытная поэтесса-самородок, Этери Тата-

раидзе. Ее стихи показал мне художник Тенгиз Мирзаашивили. Я сидел у него в мастерской, он прорисовывал что-то на полотне, уже было законченном, и читал ее строки. Я боюсь неточности перевода даже подстрочного. Передаю лишь общий образный смысл одного ее стихотворения. У хевсурской молельни, зарастающей травой забвения, со временем потерялись очертания — болью лишайников покрылись камни, ржавые от тоски ожидания вечного, и потому постепенно стала она лишаться ума, цепenea в страданиях, пока не обезумела... Есть там еще сравнение свеч, которые никто не зажигает, с руками, протянутыми безнадежно, повисшими без отклика... Есть подтексты, внятные лишь тому, кто знает край тушинский с его диалектом, язык обычаев. Но внятно мне и другому читателю стихов Э. Татараидзе другое — боль забвения, потери дома, может быть, дома веры.

Этот дом надежды и веры, прочность ориентиров жизни нашей, ищем мы все. Тот же Тенгиз Мирзаашивили, известный художник, человек добрый и чуткий, не уставая пишет пустынные пейзажи, дома, дома, редкие фигурки среди гор и неба. В спокойной статичной позиции его фигур, в постоянстве природы, в теплоте красок звучит его любовь к человеку, спокойная уверенность в неколебимости мира и его главных ориентиров.

Герцен сказал однажды горькие, но вещие слова: «Жизнь проходит рядом оптических обманов, искусственных потребностей и мнимых удовлетворений». Мы, люди XX века, ничего так не боимся, как показаться сентиментальными, обмануться в чувстве, подставить под осмеяние циников добро свое к людям... На весенней выставке 1982 года в Тбилиси я видел поразивший меня плакат. Автор его Тенгиз Картвелишвили. На нем нарисованы далекие горы, глазные яблоки человека, от которых идут снопы тонких лучей к горам. Плакат иронически подписан: «Как прекрасен этот мир!» Мы бы и в самом деле поверили автору, что он прекрасен, если бы не одна выразительная деталь, в которой и весь фокус: очки, типа старомодного пенсне, на веревочке. В таких ходили во времена Чехова. В этом пенсне человек становится чудачком, которому и не одна розовая дымка почудится над синеватыми горами... А если он снимет такие очки?..

Может быть, потому и рождаются таланты сказочников, вопреки всем предсказаниям ума опровергающие его фантазией, буйной и упрямой в своей — пусть невинной — вере в чудеса!.. В Старом городе я видел толпы зрителей у картин

юной художницы Русудан Петвиашвили. Ей в 1982 году исполнилось 14 лет. Но ее совсем детские рисунки, когда она ходила в первый-второй класс, мало чем, по сути, отличны от рисунков сегодняшних. Мир грузинской сказки, персидские мотивы, индийские источники — таинственный мир Востока: драконы с женскими грудями, которые сначала добрые настолько, что их можно доить, потом рождение тревоги, картины насилия, зла как мирового потопа... Конечно, здесь нет идиллии. Конечно, время наше пришло и в сказку, покорежило ее остов, наполнило новым смыслом. Но радость рисунка, радость наивного чуда — побеждает! У Русудан почти не найдешь строгого реализма сюжета. Разве что «У постели больной». Пока и тут с улыбкой не рассмотришь... кота с крылышками, примостившегося в ногах больной девочки. Видно, этот кот и намурлыкал ей сказку...

Счастливы люди, что они видят цветные сны! И пусть говорят нам психиатры, что это — от переутомления.

Счастлива жизнь, что снова и снова рождаются люди, способные радоваться жизни!

Счастливы грузины, что природа и судьба наградили их не только художественной жилкой и темпераментом, но и даром исторической памяти, верностью упорному труду.

Счастливы грузины и потому, что обладают завидным даром входить в чужую среду и обживать ее горячим своим сердцем. Счастливы грузины, что уважают свои святыни, что никогда не знали китайских стен их гордые горы. Счастливы грузины, что имеют друзей — верных им ответной любовью...

...Ночь в Тбилиси пахла морем, цветом апельсиновых деревьев, свежестью горного луга...



●

В краю любимом, родном
Можно и без вопросов...
Вот и кончились папиросы
Перед сном.

●

Живу — не плачу. Не кричу.
И пью совсем не так уж много.
И вот передо мной дорога —
Не по сердцу, но — по плечу.

●

О том, что все молчком,
О том, что несуразен,
О том, что ты впотымаж
Завязан узелком —
О чем? Да ни о чем —
О греко-римских связях,
О старых дочерях,
О кофе с молоком.

ПРИМЕРНО десять последних лет в журнале «Дружба народов» работал искренний и верный друг грузинской литературы и грузинских писателей — Александр Орлов. Все заметные публикации этих лет, такие, как романы, повести и рассказы Н. Думбадзе, О. Чиладзе, Г. Панджикидзе, А. Сулакаури, Г. Гегешидзе, А. Эбаноидзе и других, прошли через его руки, были прочитаны им как редактором, а редактором Александр Орлов был редким, может быть, даже уникальным, с безупречным вкусом и тончайшим слухом. Это — наряду с его прекрасными

человеческими качествами — несомненно почувствовали и, надо полагать, по достоинству оценили авторы и переводчики, которым довелось с ним работать. Лично я всегда буду благодарен Саше за труд, вложенный в подготовку публикации моего «Даты Туташхиа».

Без преувеличения можно сказать, что заслуга Александра Орлова в единодушном признании достижений грузинской прозы русскоязычным читателем значительна.

Прекрасный редактор, Александр Орлов был талантливый и сомобытным поэтом. Мягкий, деликат-

●
Ну, что имеем на сегодня,
Скажи-ка, старый греховодник.
Существованье иль борьба?
Иль дочки взгляд из-подо лба?

●
Интересуюсь всем на свете,
Теряя интерес к себе,
Ты понимал, что только дети
Все знают о своей судьбе.

●
И было мне
 не по себе,
А было по-другому,
И было мне
 не по тебе,
И было не по дому.
И было не про нашу честь
И не про мой затылок.
А как же было-то? Бог весть,
Но очень плохо было.

ный и даже застенчивый человек, в силу своего характера он никогда не занимался «устройством и проталкиванием» своих стихов и печатался редко, но оставил немалое поэтическое наследие. Его стихам свойственна простота, доступная только мудрецу с детской душой. Думаю, мы станем свидетелями еще одного посмертного признания поэта...

Весной восемьдесят первого года Александра Орлова не стало. Молодой, полный сил мужчина, в прошлом игрок сборной Москвы по волейболу, он скоропостижно скончался на волейбольной площадке

во время игры.
Я в волейбол играл.
 Весною у меня
По этому предмету был
 экзамен.
Был мяч как полудра-
 гоценный камень.
Над сеткою сверкала
 жизнь моя!

Есть глубокая закономерность в том, что «Литературная Грузия» предоставляет свои страницы стихам Александра Орлова, беззаветно и просто послужившего двум литературам — русской и грузинской, внесшего свою лепту в дружбу наших народов и наших литератур.

Чабуа АМИРЭДЖИБИ

Мне сдается, я что-то понял,
И когда я иду назад,
Над осенним освистанным полем
Мысли мои висят.

Это все, что еще осталось
От меня на моей земле.
Не готовился я к зиме,
И зима меня освистала.

Так ославила, так освистала,
Тяжело мне смотреть на людей.
Зажился на свете старый,
Ласковый старый злодей.

ОМАР

Медный глиняный древний Восток,
Древними кочевниками занятый!
Качается пальма памяти,
И орехи летят в песок.

Это кто ж там такой — под патиной
Улыбается и живет?
Он от пальмы идет, от памяти
И, наверно, никогда не умрет.

Все на меня похожи,
Я ни на кого не похож.
Сделай меня, о боже,
Похожим на рожь.

На хлеб, каравай, на сети,
В которых ты сам увяз,
И если ты есть на свете,
То это — твой рассказ.



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԾԱՆԻԿ

●
Протей! Ты почему кровавый?
Ты на три четверти из слез.
Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас... курьез.

Друзья, простите мне стихи.
Ведь это все от них морока,
И если я умру до срока,
Простите мне мои стихи.

Стихи, простите вы друзей.
Ведь это все от них морока,
И если я умру до срока,
Простите всех моих друзей.



НЕСКОЛЬКО

СЛОВ

БЛАГОДАРНОСТИ

НЕ ПОТРЯСАЕТ театр — жалуются критики. Театр не потрясает — пишут культурные зрители в газеты и журналы. И кино не потрясает. Есть удачные вещи, много хороших актеров. И режиссеры случаются хорошие. Но... Даже дискуссии возникают — почему нет потрясенный? Раньше — были... Поздний МХАТ, ранний «Современник», БДТ, Симонов и Рубен Николаевич, и Николай Константинович... и еще многие. Потрясали... И ранний МХАТ, и Михаил Чехов... Комиссаржевская... Мочалов... Правда, это уже не нас, а наших отдаленных предков, но все равно — были. Да еще и недавно были — лет десять назад. А теперь нет. Как отрезало...

Я так не думаю. Мне посчастливилось. И случается, что актерская игра производит на меня сильнейшее впечатление. Это бывает не очень часто, но бывает. Я хочу поделиться своей радостью от последнего из таких сильных, обновляющих впечатлений.

Отар Мегвинетухуцеси в роли Пиросмани в телефильме, снятом по пьесе Вадима Коростылева. Этот телеспектакль назывался «Здравствуйте, все!»

Все действие фильма происходит в одной комнате, в необжитом подвале, последнем прибежище Нико Пиросмани. Есть в фильме и натура — пустынные улицы Тбилиси, пейзажи Грузии, старая крепость, панорама города. Их немало — первые пятнадцать и последние пять минут ленты. Но это рама картины. О ней позже. Поговорим про саму картину.

Она начинается с того, как, нетвердо ступая по неудобным ступеням, спускается в свое жилье небритый человек с глазами удивленными и мудрыми, с глазами добрыми и требовательными, со взглядом вопрошающим и уже знающим ответ. По походке, по плохо скоординированным жестам мы подумали сперва, что человек этот навеселе. Но заглянули в его невеселые глаза и поняли сразу — он смертельно болен. Поздно мы встретились с этим человеком. В самые последние его часы. Два часа. Он проведет их наедине с собой и с нами, зрителями. Еще два лица оживят на время пустоту чулана — его воображаемый друг и его воображаемая муза. Но на самом деле он будет совсем один. Наедине с собой. И с нами.

Великий художник подводит черту под своей жизнью. Он не знает, что он великий. Жизнь не дала ему никаких доказательств его величия. Он бедный человек, он простой человек. Он чужд величию. И величие чуждо ему. Величие ненасытно, величию всегда кажется, что его недооценили, — только потом, только потомки разберутся. Нико Пиросмани не думает о грядущей славе. Его не мучает, что он недооценен. Нет обиды. Есть тревога, что недопоняли. Или сам недосказал, недотворил. Он не смиренный, все принимающий, о нет! Он человек с достоинством. Говорит и спорит с пирующими князьями, с рыбаком, с дворником, с доктором, с заезжей французской актрисой. Со всеми, как с равными. С малыми и с большими, как с равными. Он простой, бедный, достойный человек.

Великий художник подводит черту под своей жизнью. Он не знает, что он великий. Но он знает, что он художник. Его картины, его доски — в них все, что видел, о чем думал, что чувствовал, что предчувствовал. В них открытия, в них любовь, в них смех и красота. Великий примитив — восторженно скажет ученый потомок, разглядывая яркие репродукции. Знал ли значение слова «примитив» Нико? Наверное, нет. Как не знал точного значения слов «натюрморт» и «перспектива». Если целый мир, увиденный добрыми глазами и явленный мастерской рукой, если целая жизнь, трудная, полуголодная, если радостные озарения и любовь, и горечь, и дружба, и застолье, и одиночество — если все это входит внутрь слова «примитив», тогда пусть! Но если не входит, если разрывают это понятие изнутри, распарывают его, тогда это не примитив — это картины, доски Нико Пиросмани, одно из самых удивительных чудес Грузии.

Все действие фильма развивается в одной комнате, в

подвале. Развивается? Пожалуй, это дежурное слово сюда не подходит. Развивается — значит меняется, взаимодействует, переходит из одного состояния в другое. В этом фильме нет событий. Никто не пришел к Нико в полутемный подвал. Воображение художника дало голоса портретам. Те, кто нарисованы, воплощены, заговорили, заспорили с автором. А он с ними. Он и над ними, своими созданиями, не хочет властвовать. Он только создал их, а теперь он — и свободный и равный среди них. И только те двое, самые дорогие и не воплощенные в красках. — муза и я, друг, русский художник, — обретают плоть, движутся, смотрят, улыбаются, жестикулируют. Именно потому, что они еще не написаны. Так и не написаны. Вот они живые, они рядом. Но ведь и они — изображение.

Образ, созданный Огаром Мегвинетухуцеси, не развивается в привычном смысле слова. Он проявляется, как фотоснимок, — у нас на глазах из пустоты возникают сперва смутные очертания, еще туманные. Потом ярче, ярче и до таких мельчайших деталей, до таких подробностей, что захватывает дыхание от достоверности, от большой правды. Образ углубляется от сцены к сцене, как камень, падающий в бездну абсолютно прозрачной воды. Или вот, пожалуй, самое простое и верное слово — всю картину Нико приближается к нам. Оператор Л. Пааташвили великолепно снял портрет. Он тонко пользуется всем арсеналом операторских средств, в том числе наездом, укрупнением. Но я говорю о другом. Непостижимым образом актер создает ощущение постоянного медленного приближения к зрителю. Он ближе, ближе. Совсем лицом к лицу. И уже лица не увидеть. А сближение идет дальше — духовное сближение. Черты его лица, его мимика, его интонации становятся родными. Я уже не разглядываю актера (или Нико — это едино), а я с ним нахожусь. Теперь он близок и крупен, даже если в этот момент он на самом дальнем плане. И в кинематографической реальности возникает та обратная перспектива, которая свойственна живописи Пиросмани и о которой он говорит с русским художником.

Пиросмани: Что такое перспектива?

Художник: Далеко стоящего человека ты рисуешь маленьким и нечетко — так, в два-три мазка. А того, который близко стоит, — большим, под раму, под самый верх.

Пиросмани: А если далеко стоит друг?

Впереди —

дурак и доносчик?
Что же я его, круглоротого,
буду рисовать под самую раму?
Нет!

Я этого круглоротого —
в два-три мазка.
И маленьким,
совсем маленьким.
И рта ему не нарисую вовсе,
чтоб не разевал.
А друга,
который совсем далеко,
напишу большим и красивым.

Художник: Но тогда нарушится линия горизонта.

Пиросмани: Пусть рушится.

Прекрасный текст. Прекрасная сцена. Но как трудно ее сыграть!

В пьесе Вадима Коростылева монологи Пиросмани написаны именно так — в столбик. Как стихи. Коростылев — поэт и драматург. В этой пьесе стихов в собственном смысле слова нет. Но несомненно, что фильм о Пиросмани — произведение столь же драматическое, сколь и поэтическое. Это в ритме, это в строе мыслей, это в метафорах. Потому и действие живет здесь по законам лирической поэзии. Удивительно. Как русскому автору удалось создать в прозе подлинный грузинский напев — и без всякой имитации, без всяких внешних стараний подделаться. И обратное — как прекрасно звучит русское слово, произнесенное грузинским актером с сильным акцентом. Какие неожиданные, трогательные интонации. Вот пример глубинного тяготения двух культур друг к другу не в символах, а в реальности.

Вот еще из диалога Нико с художником:

Пиросмани: Ты наконец будешь учить меня, а?

Художник: Чему, Нико?

Пиросмани: Всему! Что такое натурррр-морррт?

Художник: Мертвая природа.

Пиросмани: Да, мне говорили так. Вот не думал, что это правда.

Художник: Правда, Нико. «Натур» — природа, «морт» — мертвая.

Пиросмани: Неверно, нехорошо сказал.

Художник: Почему, дорогой?

Пиросмани: Натурррр-морррт!



Это пир, еще не поданный на стол.
Шашлыки встали на ножки шампуров
и замерли.

И гусь, и поросенок замерли
на своих блюдах,
как заряженные пушки на лафетах.
Бурдюк надулся,
он —

пожрал перед боем.
Рог вот-вот прольется от тяжести вина.
Виноградная кисть рухнет,
если ее не поддержать ладонью.
Замершая натура!
Понимаешь?

Все замерло и напряглось в ожидании человека!
А он еще не пришел.
Опаздывает.

Встретился с друзьями
и хочет затащить их на пир.
И виноград ждет,
рог ждет,
поросенок ждет,
все ждут хозяина с гостями.
Вот что такое — натурrrr-морrrрт!

Отар Мегвинетухуцеси нигде не переходит к чтению стихов. И слова и ритм рождаются как бы сами. При скупости выразительных средств — интонационное богатство естественной речи. И покоряющая наивность, из которой рождается мудрость. Трагическая ситуация. Лирическая структура речи.

Великий художник подводит черту под своей жизнью. Вот и весь сюжет фильма. Художник не может провести скучную прямую линию. Это не черта. Это целая картина, создаваемая его воображением. Это сложное смешение образов. И воспоминаний и прозрений. Нам, зрителям, горько, что он одинок, болен, что он умирает забытый и непонятый, что до его признания еще целые десятилетия.

Но в нем самом горечи нет. И это потрясает. В свои последние минуты — он ищет и находит гармонию между жизнью и искусством. Он убеждается в своей правоте. Несмотря ни на что, он ощущает себя частицей того, что любит, частицей природы, частицей искусства, частицей своего народа.

Я — виноград...

Я родился там,
где сошлись пути земли и солнца.
В Кахетии, значит.

И потому фильм просветляет. Не мрачность подвала, а живые и добрые глаза Нико остаются в памяти. И убедительно оправдывается первое название пьесы — «Праздник одиночества». Название парадоксальное, метафорическое. Но нашелся актер, сумевший сделать метафору живой. Актер и автор счастливо нашли друг друга.

Я ни разу не говорил о режиссуре, об оформлении, о музыке. Здесь я мог бы отметить и более и менее удачные с моей точки зрения куски. Но я ведь не рецензию пишу. Я взялся за перо, чтобы рассказать о своем потрясении от актера — от моего коллеги. Я совершенно убежден, что успех Отара Мегвинетухуцеси должен в равной мере разделить с ним режиссер театрального спектакля, где роль была сыграна впервые, — Гига Лордкипанидзе. Он же один из постановщиков фильма. И главная заслуга режиссуры здесь именно в сосредоточенности всех средств на одном актере. Самоограничение постановщика, глубинная проработка пьесы и есть победа. Скажу более — моменты «чистого кино» — прогулки по Тбилиси актера без грима на фоне музыки или сцена явления массовой критиков — мне показались вовсе не обязательными.

Пирсмани оставлял свои доски без рам — и денег не было, да и не в раме дело. Я думаю, что и эта прекрасная картина тоже могла бы обойтись без рамы.

Но не буду заниматься критикой. Было потрясение. Спасибо за него.



«Я СЛЫШУ ГУЛ ТВОЕЙ ЗЕМЛИ...»

В 1907 году двадцатитрехлетний поэт впервые посетил Грузию и воскликнул:

**Тифлис, жемчужина жемчужин
В короне вечных городов!**

Эти строки принадлежат Сергею Городецкому. Древний город, его архитектура покорили писателя, поразили энергией творчества:

**На зеленеющие склоны
Ползут дома, и на балкон
Встают еще, еще балконы,
Глядишь, как будто видишь сон.
А между крыш мелькают главы
Остроконечные церквей,
И звук былой грузинской славы
Взлетает стаяй голубей.**

Недавно мною была обнаружена большая подборка стихов поэта, опубликованных в мае—сентябре 1907 года в тифлисской газете «Закавказье». Приводимые здесь строчки до сих пор оставались неизвестными.

Перед приездом в Тифлис С. Городецкий только что издал свой первый сборник стихов «Ярь» и его имя оказалось на устах всей литературной России. Тогда же А. Блок в одном из писем отзывался о нем: «Городецкий прислал «Ярь» (может быть, величайшую из современных книг)»...

В те дни вся Россия переживала великие по своему значению события — по всей империи гремели битвы первой буржуазно-демократической революции. С. Городецкий не был сторонним наблюдателем схватки революционного народа с правительством. Об этом свидетельствует и его письмо к

А. Блоку, в котором он отмечал: «Наступает великое время, выходит народ».

Весной 1907 года в столице Кавказского наместничества — Тифлисе наступило относительное «спокойствие», революционное движение в крае ослабевало с каждым днем, хотя иногда и устраивались забастовки, расклеивались воззвания с призывом праздновать Первомай. Как отмечалось в официальных документах, «город входил в русло нормальной, спокойной жизни». Возобновились театральные постановки, заработали кинематографы, стали устраиваться литературные вечера и выставки. Одну из них — «Вторую выставку картин Общества взаимопомощи кавказских художников» в конце апреля посетил С. Городецкий, поместивший о ней (1-го мая) рецензию в газете. «Культурное значение даже такой выставки выше всякой меры, — писал он, — и Обществу взаимопомощи кавказских художников надо пожелать наивозможно широкого развития. Хотелось бы, чтобы это развитие было разносторонне. Чтобы больше было вымысла. Чтобы большее внимание было уделено портрету. Чтобы художники обратились к местным архитектурным и бытовым памятникам. Эюд какого-нибудь орнамента с развалин церкви, которыми усеян Кавказ, в тысячу раз ценнее тюльпанов и хризантем. Хотелось бы, чтобы художники не ограничивались наблюдением из окна вагона или с фэтона, а посмотрели бы в сердце Кавказа».

С. Городецкий был талантливым художником-живописцем. В своих воспоминаниях поэтесса Рипсима Погосян писала: «Он сам иллюстрировал свои книги. Его акварели и масло экспонировались на выставках. Отсюда — пристрастие поэта Городецкого к ослепительному пейзажу, к разноцветной метафоре, полыхающему красками эпитету».

Эту характеристику поэзии С. Городецкого можно проиллюстрировать его пестрыми этнографическими, бытовыми зарисовками Тифлиса:

...Где у дверей открытой лавки,
Раскрасив бороду сурьмой,
Не замечая криков, давки,
Как изваяние, немой,
Сидит высокий перс с кальяном,
В мечтанья сладко погружен,
И на лице его румяном
Невозмутимый реет сон...


Где пурник вешает проворно
Из печки вынутый лаваш;
Где тесно всем и всем просторно...

Находясь в Грузии более трех месяцев, поэт опубликовал здесь двенадцать стихотворений, многие из которых не вошли в его сборники. Сергей Городецкий восхищался природой Кавказа, горами. В стихотворении «Над обрывом» он писал:

Я ходил по краю скал.
Подо мной поток играл.
Надо мной неслись орлы,
Горды, властны и смелы.
Я к расселине пришел.
Жадный, алчный, как орел,
Загляделся темнотой,
Заигрался с глубиной.

И, конечно же, он не мог не влюбиться в Тифлисе. В своем «Воспоминании» поэт говорит, что «она — орлица диких гор», вновь переживает радость встреч с любимой женщиной:

Я помню милые прогулки
По вечерам и под рассвет,
Когда в глухне переулки
Бросают зори алый свет,
И между домиков проворных,
Наверх взбегающих легко,
Ложатся в линиях узорных
Лучи косые далеко.
Я помню шум фуникулера,
Чей черепаший важный ход
Шестиминутный путь несоро,
Но уж наверное пройдет.
Растет в долине панорама:
Чем выше, тем Тифлис видней —
Сын христианства и ислама
Огонь от разных двух огней.
Как он раскинулся раздольно
До самых, самых близких гор!
Но за Курюю вдоль неволью




Двойной уносится наш взор.
Туда, где вечными снегами
Едва белеющий Казбек
Над пышноцветными лугами
Лелеет царственный свой век.
Я помню Веру и дорогу
На Мцхет, прорытую в песке,
Где к невысокому порогу
Зовут духаны на реке.
Сияло, помню, полнолуние,
Оставив быстрых лошадей,
Бежали в поле мы колдунью —
Луну прославить без людей.
И, взявшись за руки, кружились
Под круглой, белою лунной.
И наши тени в страхе бились
В траве, увлажненной росой.

В июле 1907 года Сергей Городецкий покинул Грузию, а осенью за нелегальный провоз из Финляндии «Историко-революционного альманаха» был заключен на десять дней в царскую тюрьму — Кресты. Тогда же осенью он узнал о злодейском убийстве великого грузинского поэта и общественно-го деятеля Ильи Чавчавадзе. 12 сентября в Петербурге Сергей Городецкий написал стихотворение «Памяти грузинского поэта», которое было опубликовано 23 сентября 1907 года в газете «Закавказье». С болью в сердце он откликнулся на гибель последователя русских революционных демократов — Ильи Чавчавадзе, чья смерть так напомнила ему о трагических судьбах А. С. Грибоедова и М. Ю. Лермонтова.

Свершилось темное деянье.
Клеймит народ убийц твоих.
И вечной жизни созерцанье
Открылось для очей твоих.
Тебя не знал я, сын судьбины,
Но горы родины твоей,
Но милой Грузии долины
Я возлюбил мечтой своей.
Тебя не знал я, свет народа,
Но знаю я тебя, поэт,
Когда народ и мать-природа
Лелеют в сыне вечный свет;

И сын свой голос подымает,
Такой великий и простой,
Что каждый в трепете внимает,
Чужой светлея чистотой.
Ты был таким. Я слышу крики.
Я слышу гул твоей земли.
И издалека, светлоликий,
Тебе кричу: поэт, внимли!
Поэт, внимли! Взирай оттуда:
Венчает родина тебя,
Народное свершая чудо,
Своею жизнью смерть губя.
Поэт, внимли! И Русь святая,
В простых сокрытая сердцах,
Во тьме зарницею блистая,
Глядит на твой холодный прах.
Глядит, печально вспоминая
Своих сынов, погибших там,
Где воля дикая, шальная
Еще блуждает по горах.
Один был вечно беспокоен,
Враждой священной озарен,
Как аравийский ветер, зноен.
И нежен, как весенний сон.
Другой — ты с ним почнешь рядом —
Заставил Русь с ее судьбой
Нещадной лиры звонким ладом
Смеяться горько над собой.
Печален свет воспоминанья.
И эта, Грузия, печаль
Венцом венчает состраданья
Твою тоскующую даль.
Тебя, живую в горе давном,
Пусть твой поэт всегда живет,
Чье тело бренное под камнем
Да сохранит святой Давид.



ПОЭТУ РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ТБИЛИССКОМ академическом театре оперы и балета им. З. Палиашвили состоялся юбилейный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения великого глашатая революции Владимира Маяковского.

На юбилейном вечере присутствовали товарищи Э. А. Шеварднадзе, Г. Д. Габуня, П. Г. Гиладзе, Г. Н. Енукидзе, Д. И. Патиашвили, Т. В. Ростиашвили, Н. А. Читанава, Ж. К. Шартава, председатель Всесоюзной юбилейной комиссии по проведению юбилея В. Маяковского, лауреат Ленинской премии поэт Е. Исаев, члены Республиканской юбилейной комиссии, деятели науки и культуры.

Вечер вступительным словом открыл председатель Республиканской юбилейной комиссии, секретарь ЦК КП Грузии Г. Енукидзе.

В своем выступлении Г. Енукидзе особо подчеркнул, что поэтический трибун революции вечен, как вечны ее идеи. Творчество Маяковского — поэтический камертон времени, по которому оно выверяло и подстраивало общественный пульс.

О непреходящем значении творчества В. Маяковского говорили секретарь правления Союза писателей СССР поэт Е. Исаев, секретарь правления Союза писателей Грузии, член-корреспондент Ака-

демии наук республики Г. Цицишвили, Герой Социалистического Труда поэт-академик И. Абашидзе, секретарь правления Союза писателей Грузии лауреат премии имени Руставели Ш. Нишнанидзе, известный русский поэт А. Межиров, венгерский поэт Габор Гарай, секретарь правления Союза писателей Грузии поэт Дж. Чарквиани.

В заключение юбилейного вечера состоялся большой праздничный концерт.

* * *

В Картинной галерее Грузии прошла выставка, посвященная 90-летию со дня рождения В. Маяковского.

В экспозиции из фондов Московского мемориального музея выделен основной этап жизни поэта — «20 лет творчества Маяковского».

На открытии выставки присутствовал заведующий отделом культуры ЦК КП Грузии Н. Джанберидзе.

* * *

В Литературном музее Грузии имени Г. Леонидзе была развернута выставка, посвященная юбилею поэта революции.

Фотоматериалы, книги, произведения грузинских художников рассказывали о дружбе В. Маяковского с грузинскими собратьями по перу, его приездах в Грузию.

ИСТОРИЯ ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

УЖЕ много лет в кабинете им. Ш. Руставели Ереванского государственного университета ведется плодотворная благодарная работа по исследованию грузинской литературы, армяно-грузинских литературных взаимосвязей. Недавно в издательстве Ереванского университета вышло в свет учебно-вспомогательное пособие на армянском языке научного сотрудника кабинета, кандидата филологических наук Грачия Байрамяна «Очерки истории новой грузинской литературы (1800—1890 гг.)». Пособие предназначено для студентов филологических факультетов.

Однако значение книги, первого опыта в армянском литературоведении по созданию истории грузинской литературы, шире, она вместе с тем является достойным самым серьезного внимания литературоведческим трудом.

Автор охватил существенные явления грузинской литературы XIX века, дал научную характеристику основ-

ных периодов ее развития, обзор общественной и литературной, культурной жизни каждого периода, исследование творчества ведущих писателей века.

Появление подобной книги давно было настоятельной необходимостью для армян. Работа Гр. Байрамяна восполняет существенный пробел, книга — весомый вклад в армяно-грузинские литературные связи.

Хочется отметить, что за последние годы в переводе Гр. Байрамяна или с его участием вышли в свет на армянском языке сборник «Голод дружбы» (1977), куда вошли рассказы армянских и грузинских писателей, сборник рассказов Р. Инанишвили (1979), роман Г. Панджикидзе «Камень чистой воды» (1982), рассказы Н. Думбадзе, Э. Зедгинидзе, Р. Инанишвили и других в сборниках, журналах (около 60 рассказов). В ближайшем будущем выйдут в свет на армянском языке антология «Грузинская поэзия с XII века до наших дней» (комментарии, биографии авторов, аннотации — Гр. Байрамяна), «Закон вечности», сборник рассказов Н. Думбадзе в его же переводе.



На 1-й стр. обложки: «Вахтанг Горгасали» (скульптор Элгуджа Амашукели).

Сдано в набор 6.VI.83 г. Подписано к печати 29.VIII. 83 г. Формат 84×108^{1/32}. УЭ 01247. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч-изд. л. 14,0. Тираж 8600 экз. Заказ 1504. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон 99-06-59.

Главный редактор Т. П. БУАЧИДЗЕ.

Редакционная коллегия:

Ч. И. АМИРЭДЖИБИ, Э. Г. АНАНИШВИЛИ, Р. Н. АСАЕВ, А. Н. БЕСТАВАШВИЛИ, Х. Л. ГАГУА, А. Н. ГОГУА, Э. В. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. И. ЗЛАТКИН, Н. Г. КАРАШВИЛИ [ответственный секретарь], Г. Г. МАРГВЕЛАШВИЛИ, В. Г. МАЧАВАРИАНИ, Л. Ш. СТУРУА, Э. А. ФЕЙГИН, Г. В. ХАРАИДЗЕ [заместитель главного редактора], Г. Ш. ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 к.

6111 / 164

ИНДЕКС 78117

ИЗДАНИЕ 1-е

ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. Д. ИВАНОВИЧЕВ И Д. А. ИВАНОВИЧЕВ
М. Д. ИВАНОВИЧЕВ И Д. А. ИВАНОВИЧЕВ
М. Д. ИВАНОВИЧЕВ И Д. А. ИВАНОВИЧЕВ
М. Д. ИВАНОВИЧЕВ И Д. А. ИВАНОВИЧЕВ
М. Д. ИВАНОВИЧЕВ И Д. А. ИВАНОВИЧЕВ
М. Д. ИВАНОВИЧЕВ И Д. А. ИВАНОВИЧЕВ

ИЗДАНИЕ

ИЗДАНИЕ 1-е
ИЗДАНИЕ 1-е
ИЗДАНИЕ 1-е

ИЗДАНИЕ 1-е

ИЗДАНИЕ 1-е

ИЗДАНИЕ 1-е

ИЗДАНИЕ 1-е

